

ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ДЕТЕКТИВА

ДЕННИС ЛИХЭЙН

Лихэйн — мастер сложных характеров, помещенных в напряженные и невероятно увлекательные ситуации.

Гиллиан Флинн



ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА

Деннис Лихэйн

Таинственная река

«Азбука-Аттикус»

2001

Лихэйн Д.

Таинственная река / Д. Лихэйн — «Азбука-Аттикус», 2001

К трем маленьким приятелям, Шону, Джимми и Дейву, озорничающим на улице, подъезжают два мнимых полицейских и увозят в своей машине самого слабого и беззащитного из них – Дейва. Через несколько дней мальчик убегает от похитителей и возвращается домой, но эта история оставляет рубец в душе каждого из ее участников и через двадцать пять лет вновь сводит их вместе в чудовищном кошмаре.

© Лихэйн Д., 2001

© Азбука-Аттикус, 2001

Содержание

I		5
	1	5
	2	16
II		25
	3	25
	4	33
	5	41
	6	49
	7	56
	Конец ознакомительного фрагмента.	63

Деннис Лихэйн

Таинственная река

Моей жене Шейле

*[Он] не понимал женщин, не так, как не понимают их
судейские или актеры, а так, как не понимают
законов купли-продажи бедняки. Хоть всю жизнь
стой возле дверей банка, не догадаешься, что происходит
внутри. И тянет играть по-крупному*

Пит Декстер. «Закрома Господа»

*Нет улицы, где камни немые,
Нет дома, где не звучало б эхо.*

Гонгора

I

Мальчишки, Сбежавшие от Волков (1975)

1

Стрелка и Плешка

Когда Шон Дивайн и Джимми Маркус были детьми, отцы обоих работали на кондитерской фабрике Колмана и приносили домой с работы запах горячего шоколада. Шоколадом пропахли их одежда, постели и виниловые спинки кресел в их машинах. В кухне у Шона пахло тянучками, в ванной – жвачкой Колмана. Ко времени, когда им с Джимми исполнилось одиннадцать, они успели так стойко возненавидеть сладкое, что впредь пили кофе только черный, а на десерт даже не глядели.

По субботам отец Джимми заезжал к Дивайнам пропустить кружечку пивка с отцом Шона. Он брал с собой Джимми, и пока кружечка не превращалась в шесть плюс две-три порции виски, Джимми и Шон играли во дворе, иногда вместе с Дейвом Бойлом, мальчишкой с девчачьими слабыми руками и слабым зрением, знавшим кучу анекдотов и прибауток, которых поднабрался от своих дядьев. Из-за жалюзи кухни доносились треск вскрываемых пивных банок, внезапные взрывы хриплого хохота и резкое щелканье зажигалок, когда мистер Дивайн и мистер Маркус закуривали свои «Лаки страйк».

У отца Шона, мастера, работа была получше. Он был высокий, белокурый, улыбчивый. Улыбка его, как не раз замечал Шон, моментально умирляла гнев матери, словно внутри нее задували огонь. Отец Джимми работал грузчиком. Маленький, с падающими на лоб вечно спутанными темными вихрами, глазами, в которых словно прыгал некий живчик, он был порывист, быстр и непоседлив – не успеешь моргнуть, а он уже на другом конце комнаты. У Дейва Бойла отца не было, были только дядья, а брали его с собой по субботам лишь потому, что он вечно как банный лист лип к Джимми: стоило ему увидеть, как тот выходит из дому с отцом, как он, запыхавшийся, уже тут как тут возле их машины и робко, но с тайной надеждой тянет: «Ты куда собрался, а, Джимми?»

Все они жили в Ист-Бакинхеме, к западу от центра, в районе мелких магазинчиков и тесных дворов, где туши в витринах мясных лавок еще сочились кровью, названия баров были

ирландскими, а возле обочин стояли припаркованные «доджи-дарты». Женщины в этом районе повязывали голову косынкой и в качестве портсигаров использовали кошельки из искусственной кожи. Лишь год-два минуло с тех пор, как старших мальчиков перестали вылавливать по улицам для мгновенной отправки в армию. Возвращались они через год или год с небольшим хмурые, с потухшим взглядом, или же совсем не возвращались. Днем матери просматривали газеты в поисках объявлений о скидках, вечерами отцы отправлялись в бары. Все знали друг друга, никто отсюда не уезжал, кроме тех самых старших мальчиков.

Джимми и Дейв были с Плешки, расположенной за Тюремным каналом с южной стороны Бакинхем-авеню. Жили они неподалеку от Шона, но дом Дивайнов находился в северной части авеню, на так называемой Стрелке, а Стрелка и Плешка не очень-то между собой общались.

Нельзя сказать, что Стрелка сияла роскошью. Просто Стрелка была Стрелкой — местом жительства квалифицированных рабочих, «синих воротничков», кварталами однотипных островерхих домов с редкими вкраплениями викторианских особнячков, с «доджами», «шевроле» и «фордами» у обочины. Но жители Стрелки были домовладельцами, в то время как люди с Плешки — квартиросъемщиками. В церкви жители Стрелки держались кучно, на предвыборных митингах плакаты сосредоточивались в их руках. А жители Плешки перебивались кое-как: ютились, подобно зверю в норах, вдсятером в одной квартире, на грязных замусоренных улицах Трущобвилля, как Шон и его однокашники по школе Сент-Майк называли этот район. Многие семьи жили на пособие, отправляя детей в бесплатные школы; много было и неполных семей. Таким образом, в то время как Шон, посещая приходскую Сент-Майк, надевал фирменные черные штаны, черный галстук и голубую рубашку, Джимми и Дейв ходили в школу Льюиса М. Дьюи, что было прекрасно, но носили они при этом отрепья, все время одни и те же — что в школе, что на улице, — а это уже прекрасным вовсе не было. У мальчиков из М. Дьюи лица пестрели прыщами, школу они часто бросали не окончив; а некоторые из девочек облачались на выпускной бал в платья свободного покроя.

Поэтому, если б не отцы, герои наши вряд ли смогли бы сдружиться. На неделе времени на прогулки у них не оставалось, но в их распоряжении были увлекательные субботы с играми во дворе, рысканиями по свалкам среди куч щебня за Харвест-стрит или катаниями на метро в центр — не для осмотра достопримечательностей, а лишь для ни с чем не сравнимого ощущения движения по темному туннелю под стук колес и визг тормозов на поворотах, в мелькании огней, от которого у Шона всегда захватывало дух. Ведь все могло произойти в компании с Джимми. Потому что если Джимми и был знаком с правилами поведения — в метро, на улицах, в кинотеатрах, — знакомства этого он не выказывал.

Однажды на Саут-стейшн они забавлялись тем, что гоняли по платформе оранжевый хоккейный мяч. Джимми упустил мяч, брошенный Шоном, и мяч упал на пути. Прежде чем Шон успел сообразить, что задумал его дружок, тот прыгнул с платформы прямо на рельсы, туда, к крысам, мышам и страшной третьей рельсе.

Пассажиры на платформе просто спятили. Они принялись орать на Джимми. Одна женщина с посеревшим, как пепел от сигары, лицом, опустившись на колени, вопила:

— А ну, подымайся назад! Подымайся сию минуту, черт тебя подери!

Шон услышал низкий гул — не то от поезда, уже нырнувшего в туннель возле Вашингтон-стрит, не то от грузовиков, мчавшихся по улице наверху. Люди на платформе тоже слышали этот гул. Они замахали руками и стали озирались в поисках дежурного полисмена. Какой-то тип заслонил рукой глаза своей дочери.

Джимми же, не поднимая головы, вглядывался в темноту — он искал мяч. И он нашел его.

Стер с него сажу рукавом рубашки, не обращая внимания на толпу свесившихся с платформы и тянущих к нему руки.

Толкнув локтем Шона, Дейв пронзительно вскрикнул:

— Ой, ты!

Джимми прошел по середке между рельсами к дальнему краю платформы, где находилась лесенка и где раскрывалось темное жерло туннеля, гул из которого уже сотрясал станцию. Люди, толпившиеся на платформе, теперь буквально *подпрыгивали*, молотя кулаками по бедрам. Джимми шел не спеша, вразвалочку, а потом обернулся, встретился глазами с Шоном и осклабился.

Дейв сказал:

– Смеется. Ненормальный.

Едва только Джимми ступил на лесенку, как многочисленные руки, потянувшись, подхватили его. Шон видел, как взлетело вверх его тело – ноги налево, голова направо; Джимми выглядел таким маленьким и легким в руках рослого мужчины, словно кукла, набитая опилками, но, несмотря на чьи-то пальцы, хватавшие его за локоть, несмотря на то, что щиколотка его еще билась о край платформы, он крепко прижимал к груди мяч. Шон чувствовал, как трясется рядом растерянный Дейв. Шон глядел на лица тех, кто поднимал Джимми на платформу. Теперь на них не было страха, волнения или выражения беспомощности, как еще минуту назад. Он читал на этих лицах ярость – уродливые злые чудовища с искаженными злобой чертами. Казалось, они сейчас впечатаются в Джимми зубами, а потом избыют его до смерти.

Подняв Джимми, они не отпускали его, держа за плечи, словно ожидая того, кто скажет, что с ним делать дальше. Поезд выскочил из туннеля, раздался чей-то крик, а потом смех – оглушительный гогот, так гогочут ведьмы вокруг котла со своим адским варевом, – потому что поезд прошел с другой стороны платформы, направляясь в северную часть города, и Джимми поднял глаза на обступивших его людей, словно говоря: «Ну что? Съели?»

Стоявший бок о бок с Шоном Дейв тоненько хихикнул, победно взмахнув руками.

Шон отвел глаза, в чувствах его царил сумбур.

В тот же вечер отец Шона усадил его на табуретку в мастерской в подвале. Там было тесно от всех этих черных слесарных тисков, гвоздей и шурупов в банках из-под кофе, дощечек и фанерок, аккуратно сложенных под исцарапанным верстаком посреди комнаты; молотки висели по стенам в своих гнездах, как зачехленное оружие, рядом с двуручной пилой на крюке. Отец, подрабатывавший и у соседей, нередко приходил сюда – мастерил птичьи домики для себя и полочки под цветочные горшки для жены. Здесь же он обдумывал конструкцию заднего крыльца, которое и воздвиг вместе с приятелями в то знойное лето, когда Шону минуло пять лет. А еще он спускался сюда в поисках покоя и уединения или же, как это было известно Шону, когда сердился – на Шона ли, на мать или на свою работу. Птичьи домики – разнообразнейшие: то в виде миниатюрных тюдоровских замков, то в колониальном или викторианском стиле, а то имитирующие швейцарские шале, в результате громоздились в подвальном углу, так как такого количества птиц не нашлось бы даже в лесах Амазонки.

Сидя на красной круглой табуретке, Шон вертел в руках черные слесарные тиски, вдыхая запах машинного масла и опилок и ожидая, когда отец заговорит.

– Шон, – сказал отец, – сколько раз тебе надо повторять одно и то же!

Шон вытащил палец из тисков и стер с ладони масло.

Собрав с верстака валяющиеся там гвозди, отец ссыпал их в желтую банку из-под кофе.

– Я знаю, что ты любишь Джимми Маркуса, но если вы хотите играть вместе, то отныне это будет около дома. Твоего дома, а не его.

Шон кивнул. Препираться с отцом было бессмысленно, когда он говорил таким тоном, как сейчас – спокойным, размеренным, чеканя каждое слово.

– Ведь мы поняли друг друга?

Сдвинув банку из-под кофе, отец смотрел вниз на Шона.

Шон кивнул. Он глядел, как отец стряхивает с толстых пальцев опилки.

– И надолго?

Потянувшись, отец снял клочок паутины с крюка на потолке. Скатав паутину в комочек, он бросил его в стоявшее под верстаком мусорное ведро.

– Да, надолго. И вот еще, Шон...

– Что?

– Не вздумай лезть с этим к матери. Она решительно против твоей дружбы с Джимми после этого сегодняшнего его фортеля.

– Да он вовсе не такой уж плохой мальчик. Он...

– Я и не сказал, что он плохой. Но он дикарь, а мама устала от дикарей.

Шон заметил, как сверкнули глаза отца при слове «дикарь», и понял, что на секунду перед глазами его возник другой Билли Дивайн, чей образ можно было воссоздать по подслушанным обрывкам разговоров и нечаянным обмолвкам дядьев и тетюшек. Старина Билли был «забиякой», как однажды с улыбкой сказал дядя Колм, но тот Билли Дивайн исчез незадолго до рождения Шона, превратившись в этого тихого аккуратного человека, чьи толстые ловкие пальцы соорудили целую гору птичьих домиков.

– И не забудь наш разговор, – сказал отец и похлопал его по плечу в знак того, что он может идти.

Шон вышел из мастерской, думая о том, что, наверное, в компании Джимми его привлекает то же самое, чем привлекает отца общество мистера Маркуса, когда субботняя выпивка плавно перетекает в воскресную под взрывы хриплого смеха, чего, может быть, и боится его мать.

А несколько суббот спустя Джимми и Дейв Бойл заявили к Дивайнам без отца Джимми. Они постучали в заднюю дверь, когда Шон приканчивал завтрак, и он услышал, как мать открыла им со словами: «Привет, Джимми, привет, Дейв», сказанными этим ее подчеркнуто вежливым тоном, каким она говорила с людьми, ей не слишком приятными.

В тот день Джимми был тихим. Казалось, сумасшедшая энергия его затаилась, свернувшись клубком. Шон явственно ощущал, как распирает она его внутренности и как Джимм сглатывает ее, когда она подступает к горлу. Джимми словно потемнел и уменьшился в размерах – так съеживается воздушный шар, если его проткнуть иголкой и выпустить воздух. Шон и раньше видел Джимми в мрачном настроении, на того иногда «находило». И он не раз задавался вопросом, умеет ли Джимми как-то сдерживать наступление таких припадков, или они возникают стихийно, вроде ангины или материнных кузин – неожиданно-негаданно, хочешь не хочешь.

Когда на Джимми наступление «находило», Дейв прямо из кожи лез вон. Он считал тогда своей прямой обязанностью развеселить всех. Сейчас, когда они стояли на тротуаре, решая, чем заняться, – сумрачно-сдержанный Джимми и Шон, еще не очухавшийся ото сна, и им предстоял субботний день, бесконечный, хоть и ограниченный длиной улицы, на которой находился дом Шона, Дейв спросил:

– Эй, а почему собака яйца лижет?

Ни Шон, ни Джимми не ответили. Эту шутку они слыхали от него не один десяток раз.

– Да потому, что дотянуться может! – взвизгнул Дейв и схватился за живот, словно сейчас лопнет от смеха.

Они двинулись по тротуару, туда, где стояли ограждения, потому что рабочие меняли там несколько метров асфальта и желтая ленточка с надписью «осторожно!» образовывала прямо-угольник, внутри которого застыл свежий асфальт, но Джимми прорвал ленточку, пройдя за ограждения. Сев на корточки, так, чтобы кеды его оставались на старом асфальте, он чертил веткой по мягкому асфальту узор из тонких линий, напомнивший Шону морщинистые руки старика.

– Мой папа больше не работает с твоим.

– Чего это вдруг?

Шон присел на корточки рядом с Джимми. Палки у него не было, а она была ему нужна позарез. Ему хотелось делать то же самое, что и Джимми, даже если он не знал зачем, даже если отец располосовал бы ему за это ремнем всю задницу.

Джимми пожал плечами.

– Он умнее всех их, вместе взятых. Вот они его и испугались, слишком много знал всякого-разного, всяких вещей.

– Умные вещи знал, – подхватил Дейв Бойл. – Верно, Джимми?

Верно, Джимми? Верно, Джимми? Дейв мог иногда вот так заладить, словно попугай.

Шон прикидывал, какие такие особенные вещи можно знать про шоколад и конфеты и почему знания эти могут сыграть такую роковую роль.

– А какие вещи он знал?

– Ну, как наладить дело получше, – без большой убежденности пояснил Джимми. – Словом, разные вещи и очень важные.

– Ясно.

– Как по-умному дело наладить, верно, Джимми? Верно?

Но Джимми опять занялся расковыриванием тротуара. Дейв Бойл нашел и себе палочку и, склонившись над мягким асфальтом, принялся чертить круг. Джимми нахмурился и отшвырнул ветку в сторону. Перестав чертить, Дейв поднял на него глаза с таким видом, будто хотел сказать: «Ну что я такого сделал?!»

– Знаете, чем бы сейчас было бы здорово заняться?

При этих словах голос Джимми слегка зазвенел, и повисший в воздухе вопрос заставил сердце Шона затрепетать, возможно, потому, что «здорово» в понимании Джимми разительно отличалось от того, что обычно вкладывали в это слово окружающие.

– Чем?

– Поругать!

– Угу, – протянул Шон.

– Немножко. – Джимми схватил его за руки, вывернул ладони – ветка и асфальт были забыты. – Мы бы здесь по соседству покатались.

– Ну если по соседству... – промямлил Шон.

– Здорово было бы, правда? – Джимми широко улыбнулся, и Шон почувствовал, как улыбка сама собой прорывает линию ограждения и вот уже сияет и на его собственном лице.

– Да, это здорово!

– Да еще бы, здоровее не бывает. – Джимми даже подпрыгнул, вытаращил глаза и подпрыгнул опять. – Здорово...

Шон уже чувствовал в руках руль.

– Да, да, да, да! – И Джимми ткнул Шона в плечо.

– Да, да, да! – И Шон ткнул Джимми в ответ. Внутри него что-то зыбилося, ширилось, вихрилось, все убыстряясь и блистая.

– Да, да, да! – подхватил и Дейв. Он тоже ткнул было Джимми в плечо, но промахнулся.

А Шон и забыл, что Дейв был рядом. Такое часто случалось, когда дело касалось Дейва. Шон не знал почему.

– Здорово, чертовски здорово, обалденно здорово, ей-богу! – Джимми расхохотался и опять подпрыгнул.

А перед глазами Шона как наяву уже возникла картина: они на переднем сиденье (Дейв сзади, если он вообще там будет), и катят, катят двое одиннадцатилетних мальчишек по Бакин-хему, сигналият приятелям, обгоняют старших водителей на Данбой-авеню, не щадя покрышек, в визге тормозов и облаке выхлопных газов. Он чувствовал, как ветерок, задувающий в окно, треплет его волосы.

Джимми окинул взглядом улицу.

– Знаешь таких поблизости, что оставляют ключи в машине?

Шон таких знал. Мистер Гриффин оставлял ключи под сиденьем; Дотти Фиоре бросала их в бардачок, а старик Маковски, этот пьяница, который день и ночь врубает Синатру на полную катушку, частенько забывал их в замке зажигания.

Но, следя за взглядом Джимми и одновременно припоминая рассеянных владельцев машин, Шон чувствовал тупую боль в глазницах, словно улица, залитая солнцем, чьи лучи отражались от кузовов и капотов, давила на него – словно и сама улица, и дома на ней, и вся Стрелка, и все надежды, которые она возлагала на него, разом превратились в невыносимую тяжесть. Он не из тех мальчиков, что крадут автомобили. Он собирался в колледж, чтобы в один прекрасный день стать больше и главнее простого мастера или грузчика. Таковы были его планы, и Шон верил, что при известном терпении, а также осторожности планы эти осуществятся. Это как в кино, когда картина скучная или муторная, но ты не уходишь, а ждешь конца, потому что в конце все может проясниться или будет что-нибудь неожиданное, и ты не пожалеешь, что выдержал всю эту тягомотину.

Он хотел было поделиться этим соображением с Джимми, но тот уже шел по улице, заглядывая в окошки припаркованных автомобилей. Дейв поспевал за ним.

– Такая подойдет?

Джимми прикоснулся ладонью к «бель-эру» мистера Карлтона, и голос его, громкий и отчетливый, тут же был подхвачен свежим ветерком.

– Слушай, Джимми. – Шон приблизился к нему. – Может, в другой раз, а?

Лицо Джимми тут же стало скучным и злым.

– Ты чего это? Мы сейчас покатаемся. Повеселимся! Это ж обалденно здорово, ведь так?

– Обалденно здорово, – повторил Дейв.

– Да мы до приборной доски еле дотянемся.

– А телефонные книги на что? – Освещенное солнцем лицо Джимми сморщилось в улыбке. – Телефонными книгами мы у тебя в доме разживемся!

– Телефонные книги, – повторил Дейв. – Ага.

Но Шон выставил вперед руки:

– Нет. И хватит.

У Джимми сползла с лица улыбка. Он поглядел на руки Шона так, словно рад был бы отрезать их ему по самые локти.

– Ну почему ты не хочешь повеселиться, а?

Он потянул за ручку «бель-эра», но дверца была заперта. У Джимми задергались щеки и задрожала нижняя губа, он глядел на Шона с таким тоскливым, затравленным выражением, что тому стало жаль его.

Дейв переводил взгляд с Джимми на Шона. Он неловко взмахнул рукой и стукнул Шона в плечо:

– Да! Что это ты не разрешаешь нам повеселиться?

Шон не верил своим глазам. Дейв его ударил! Дейв!

Он пихнул Дейва в грудь, и тот полетел на землю.

Джимми ударил Шона.

– Что это ты, обалдел?

– Он меня ударил, – сказал Шон.

– Врешь, – сказал Джимми.

Шон удивленно вытаращил глаза, и Джимми передразнил его.

– Он меня ударил!

– «Он меня ударил», – пропищал Джимми девчачьим голосом и опять толкнул Шона. – Он мой друг, черт тебя дери!

– И я твой друг! – сказал Шон.

– «И я твой друг!» – передразнил Джимми. – И я! И я! И я!

Дейв Бойл был уже на ногах и хохотал.

– Прекрати, – сказал Шон.

– «Прекрати! Прекрати! Прекрати!» – Джимми опять толкнул Шона, больно надавив кончиками пальцев ему на ребра. – Ну, вдарь мне! Вдарь, хочешь?

– Хочешь вдарить ему? – На этот раз Шона толкнул Дейв.

Шон даже не понял, как все это произошло. Он не помнил, что так взбесило Джимми и отчего вдруг Дейв первым ударил его. Еще секунду назад они стояли возле машины, и вот уже они на середине улицы, и Джимми бьет его, и лицо у него напряженно-злое, а черные глазки сузились; и Дейв тоже готов влезть в драку.

– Давай, давай, вдарь!

– Не хочу я...

Новый удар в грудь.

– Давай, маменькина дочка!

– Джимми, разве нельзя просто...

– Нельзя. Ты что, девчонка-недотрога, да?

Он собрался ударить его еще раз, но передумал, и на лице его опять мелькнуло тоскливое, затравленное и усталое, как уже заметил Шон, выражение, а глаза его, глядевшие мимо Шона, были обращены на что-то, появившееся на улице.

Это был коричневый автомобиль, длинный, с широким кузовом, похожий на те, в которых разъезжают полицейские, – «плимут» или наподобие «плимута»; бампер его очутился возле самых их ног, и двое полицейских из-за стекла уставились на них; лица полицейских были размытыми, потому что в стекле проплывали отражения деревьев.

И Шона охватило внезапное ощущение какого-то перелома, рубежа, уничтожившего безмятежность этого утра.

Тот, что был за рулем, вылез. Типичный полицейский: коротко стриженный блондин, краснолицый, в белой рубашке и черно-золотистом нейлоновом галстуке, над ременной пряжкой – внушительная выпуклость живота. Второй полицейский казался больным: он был худой, вялый и из машины не вылез – продолжал сидеть на месте, прижав руку к сальным черным волосам и поглядывая через зеркальце бокового вида на трех мальчишек, стоявших возле дверцы водителя.

Толстомаясый нацелил на них палец, потом согнул его, делая ребятам знак подойти поближе и повторяя этот жест, пока они не очутились возле него.

– Можно мне вам вопросик один задать, а? – Он наклонился, перегнувшись во внушительной своей талии. – Вы что, ребята, думаете, что драться посреди улицы – это хорошо?

Шон заметил золотой жетон, прицепленный к ремню у толстого правого бока.

– Не слышу ответа! – Полицейский приложил руку к уху.

– Нет, сэр.

– Нет, сэр.

– Нет, сэр.

– Значит, вы хулиганы. Вот вы кто такие! – Он ткнул своим толстым пальцем в сторону человека в машине. – Мне и моему напарнику порядком надоело здешнее хулиганье, от которого приличным людям в Ист-Бакинхеме житья нет и на улице страшно показаться. Ясно?

Шон и Джимми молчали.

– Простите, – сказал Дейв Бойл. Вид у него был такой, словно он сейчас расплатится.

– Вы здешние? – спросил рослый полицейский. Глаза его шарили по левой стороне улицы так, словно он знал здесь всех и каждого и соври они, он их тут же заберет в отделение.

– Угу, – сказал Джимми и оглянулся на дом Шона.

– Да, сэр, – сказал Шон.

Дейв ничего не ответил.

Полицейский перевел взгляд на него:

– А? Ты что-то сказал, парень?

– Что? – Дейв покосился на Джимми.

– Ты на него не гляди. Ты на меня гляди! – Дыхание толстомясого с шумом вырывалось из его ноздрей. – Ты здешний, парень?

– А? Нет.

Полицейский наклонился к Дейву:

– А где ты живешь, сынок?

– Рестер-стрит. – Он все еще не сводил глаз с Джимми.

– Отребье с Плешки пробралось на Стрелку, да? – Вишнево-алые губы полицейского вытянулись в трубочку, словно он сосал леденец. – И наверно, не для добрых дел.

– Сэр?

– Твоя мать дома?

– Да, сэр. – По щеке Дейва скатилась слеза, и Шон с Джимми отвели взгляд.

– Надо будет с ней побеседовать. Рассказать, что задумал ее хулиганистый сынок!

– Я... да я ничего... – забормотал Дейв.

– А ну залезай! – Полицейский распахнул заднюю дверцу, и Шон ощутил явственный и крепкий запах яблок, октябрьский запах.

Дейв поглядел на Джимми.

– Лезь давай! – рявкнул полицейский. – Ты что, хочешь в наручниках оказаться?

– Я...

– Что? – Казалось, полицейский был просто в ярости. Он хлопнул по распахнутой дверце. – Лезь, черт тебя дери!

Громко плача, Дейв влез на заднее сиденье.

Полицейский уставил толстый, как обрубок, палец на Джимми и Шона.

– А вы ступайте и расскажите вашим матерям, как вы себя вели. И чтобы больше драк на моих улицах не было!

Джимми и Шон посторонились, а полицейский впрыгнул в машину, и та тронулась.

Они глядели, как, доехав до угла, она повернула направо. Лицо Дейва, постепенно растворявшееся в темноте автомобиля, было все время обращено к ним. И тут же улица опустела, онемела, словно оглушенная стуком захлопнувшейся дверцы. Джимми и Шон стояли на месте, где только что был автомобиль, глядели себе под ноги и по сторонам, только не друг на друга.

Шон все не мог избавиться от острого ощущения перелома, к которому теперь присоединился мерзкий вкус во рту – словно сосешь грязные монеты. В желудке была пустота, как если б его вычерпали ложкой.

Наконец Джимми сказал:

– Ты все начал.

– Он начал.

– Нет, ты. Теперь его зацапали. А у матери его не все дома. Нечего и говорить о том, что она сделает, когда его приволокут к ней двое полицейских.

– Не я это начал.

Джимми пихнул Шона, и тот ответил ему тем же. Сцепившись, они покатались по земле, тузя друг друга.

– Эй!

Шон отпустил Джимми, и они оба вскочили, ожидая опять увидеть перед собой полицейских, но вместо них перед мальчиками предстал мистер Дивайн, спускавшийся с крыльца и направлявшийся к ним.

– Чем это вы двое, черт возьми, занимаетесь?

– Ничем.

– Ничем.

Поравнявшись с драчунами, отец Шона нахмурился.

– Уйдите-ка с мостовой.

Мальчики поднялись на тротуар, туда, где стоял отец.

– Разве вы не втроем были? – Мистер Дивайн огляделся по сторонам. – А где Дейв?

– Что?

– Дейв. – Отец Шона пристально смотрел на них. – Ведь Дейв был с вами, так?

– Мы подрались на улице.

– Что?!

– Мы подрались на улице, и нас застучала полиция.

– Когда это было?

– Да минут пять назад.

– Ладно. Итак, вас застучала полиция...

– И они забрали Дейва.

Отец Шона опять рассеянно огляделся – посмотрел в одну сторону, в другую...

– Они что? Забрали?

– Чтобы отвезти его домой. Я соврал. Сказал, что живу здесь. А Дейв сказал, что он с

Плешки, и они...

– Что ты такое плетешь? Шон, как выглядели эти полицейские?

– А?

– Они были в форме?

– Нет, нет, они...

– Тогда откуда ты знаешь, что это полицейские?

– Я не знаю... Они...

– Они – что?

– У него жетон был, – сказал Джимми. – На ремешке.

– Какой из себя?

– Золотой.

– Ладно. А надпись какая?

– Надпись?

– Ну, слова были написаны какие-нибудь? Ты прочел там что-нибудь? Заметил надпись?

– Нет. Не знаю.

– Билли?

Они подняли головы. На крыльце стояла мать Шона, и на лице ее было сдержанное любопытство.

– Послушай, дорогуша... Позвони в полицейский участок, хорошо? Узнай, не забирала ли полиция мальчика за драку на улице.

– Мальчика...

– Дейва Бойла.

– О господи! Надо матери его...

– Давай пока не будем, а? Подождем, что скажут в полиции. Согласна?

Мать Шона пошла в дом. А Шон глядел на отца. Тот словно не знал, куда ему девать руки. Он сунул их в карманы, потом вытащил, вытер о штаны. Потом чертыхнулся себе под нос и стал глядеть вдоль улицы, как будто Дейв маячил где-то на перекрестке – пляшущая бесплотная фигурка, невидимый Шону мираж.

– Она была коричневая, – сказал Джимми.

– Что?

- Машина. Темно-коричневая. По-моему, вроде «плимута».
- А еще что-нибудь?

Шон попытался представить себе машину, но не сумел. Она виделась ему лишь темным силуэтом, застывшим зрение, но остававшимся где-то на краю сознания. Силуэт этот загоразживали оранжевый «пинто» миссис Райен и низ живой изгороди, за которыми Шон ничего разглядеть не смог.

- Она яблоками пахла, – сказал он.
- Что?
- Ну, запах такой, яблочный.
- Машина пахла яблоками.
- Яблоками... – повторил отец Шона.

Час спустя в доме Шона на кухне двое полицейских допрашивали Шона и Джимми, засыпая их вопросами, а потом еще какой-то парень рисовал с их слов портрет тех двоих, в коричневой машине. Толстомясый блондин на рисунке получился еще злее, а рожа его вышла еще шире. Второй же, тот, что все глядел в зеркальце бокового вида, на портрете вообще не вышел – так, пятно какое-то с темными волосами, – потому что ни Шон, ни Джимми не запомнили его лица.

Потом появился отец Джимми – сердитый, растерянный, он стоял в углу кухни, глаза у него слезились, и он слегка покачивался, как будто позади него пошатывалась стена. С отцом Шона он не разговаривал, и никто не обращался к нему. Обычная его живость, юркость сейчас поубавились, и он казался Шону меньше и словно бесплотнее, ему даже почудилось, что если на мгновение отвести глаза, фигура эта исчезнет, сольется с рисунком на обоях.

После четырех-пяти серий вопросов все они выкатились – полицейские, парень, что рисовал портреты, и Джимми с отцом. Мать Шона отправилась в спальню, закрыла дверь, и спустя некоторое время оттуда донеслись приглушенные рыдания.

Шон сидел на крыльце, и отец объяснял ему, что он ничего плохого не сделал, что они с Джимми молодцы – не дали себя зацапать тем, в машине. Потом отец похлопал его по коленке и заверил, что все будет в порядке. Дейв к вечеру окажется дома. Вот увидишь.

Отец замолчал. Он тянул свое пиво, сидя рядом с Шоном, но Шон чувствовал, что мысли его далеко – может быть, там, в спальне с матерью, или внизу, в подвальной мастерской с его птичьими домиками.

Шон глядел на улицу и видел ряды автомобилей, поблескивающих глянцевитым блеском. Он твердил себе, что все случившееся – часть какого-то разумного плана. Просто план этот пока что ему не ясен. Но когда-нибудь он поймет этот план. Адреналин, бушевавший в его венах с той минуты, как Дейва увезли, а они с Джимми, сцепившись, покатались по асфальту, наконец-то выделился через поры, улетучился.

Перед ним было место, где они подрались – он, Джимми и Дейв Бойл, – вон там, возле стоявшего «бель-эра», и он ощущал в теле пустоту, ждал, чтобы новый всплеск адреналина заполнил эту зияющую дыру. Ждал, чтобы случившееся, перегруппировавшись, обнаружило свой тайный смысл. Он ждал, разглядывая улицу, слушал уличный шум, жадно вбирал его до тех пор, пока отец не поднялся и они не пошли в дом.

Джимми шел на Плешку, семена за отцом. Старик слегка покачивался и дымил не переставая, докуривая окурки до конца и тихонько бормоча что-то себе под нос. Дома старик его выпорет, а может, порки и не будет – трудно сказать.

Когда отец потерял работу, он запретил Джимми и носа казать к Дивайнам, и Джимми опасался теперь, что придется поплатиться за то, что нарушил запрет. Но может быть, это будет и не сегодня. Отец выпил и был какой-то вялый, сонный – в таком состоянии он обычно, придя

домой, присаживался у кухонного стола и там все добавлял и добавлял, пока не засыпал сидя, положив голову на руки.

Но на всякий случай Джимми все же шел в нескольких шагах сзади, подбрасывая в воздух мячик и ловя его бейсбольной перчаткой-ловушкой, которую он стянул в доме у Шона, когда полицейские прощались с Дивайнами, а им с отцом никто и слова не сказал на прощание, и они пошли по коридору к выходу. Дверь в комнату Шона была приоткрыта, и Джимми углядел там валявшиеся на полу бейсбольную перчатку и мяч. Он шмыгнул в комнату и подобрал их, и они с отцом тут же ушли. Он сам не понимал, зачем стянул перчатку – не ради же удивленного одобрения и даже гордости, мелькнувших в глазах старика, когда он стащил эту перчатку, черт ее возьми, да и его тоже.

Похоже, это из-за того, что Шон ударил Дейва Бойла и струсил угнать машину, и разных других случаев, поднабравшихся за год их дружбы, когда, что бы Шон ни давал, ни дарил Джимми – билеты на бейсбол, половину соевого батончика, – во всем Джимми чудилась подачка.

А стащив эту перчатку и идя с ней как с трофеем, Джимми чувствовал подъем. Чувствовал радостное воодушевление. Лишь переходя Бакинхем-авеню, он вдруг ощутил знакомый стыд и смущение оттого, что украл, и гнев на те обстоятельства и на тех людей, что заставляют его красть. Зато потом уже на Кресент, на подходе к Плешке, его охватила гордость: он глядел на замызганные трехэтажки и сжимал в руке бейсбольную перчатку.

Джимми стащил перчатку, и ему было стыдно. Ведь Шон ее хватится. Но он стащил перчатку, которой хватится Шон, и это было приятно.

Джимми глядел, как перед ним плетется, оступаясь, его отец. Казалось, старый хрен вот-вот свалится и угодит в собственную лужу. А Шона он ненавидел.

Да, Шона он ненавидел, и было мерзко вспомнить, что они дружили, и он знал, что хоть всю жизнь и будет хранить эту перчатку, беречь ее, он никогда и ни за что на свете не возьмет ее в игру. Лучше смерть.

Джимми глядел на простиравшуюся перед ним Плешку, идя вслед за отцом под эстакадой надземки, туда, где затихала Кресент, а товарняки громыхали мимо старого занюханного магазина для автомобилистов, проносясь к Тюремному каналу; в глубине души он знал, знал наверняка, что Дейва Бойла они больше не увидят. Там, где жил Джимми, на Рестер-стрит, воровство было в порядке вещей. Сам он в четыре года украл обруч, в восемь – велосипед. У старика сперли автомобиль, а мать стала развешивать выстиранное белье в доме, потому что во дворе постоянно пропадало с веревки то одно, то другое, и кража – совсем не то же самое, что потеря. Кража – и ты это точно знаешь – уже навсегда. Вот он и думал сейчас о Дейве. А может быть, и Шон испытывает то же самое чувство, думая о своей бейсбольной перчатке, разглядывая то место на полу, где она лежала, и зная, нутром чувствуя, что никогда, никогда она не вернется назад.

И все это вдвойне грустно еще и потому, что Джимми любил Дейва, любил, хотя не мог сказать, за что. Что-то в нем было особенное, может, его способность всегда находиться рядом, даже если нередко ты не замечал его присутствия.

2

Четыре дня

Как оказалось, Джимми ошибался.

Через четыре дня Дейв Бойл вернулся. Вернулся в родной квартал на переднем сиденье полицейской машины. Двое полицейских, привезших его, разрешили ему поиграть с сиреной и потрогать спрятанную под приборной доской пулеметную гашетку. Они подарили ему значок отличника полицейской службы и подвезли его к самому дому на Рестер-стрит, где уже тут как тут были репортеры – газетные и телевизионные. Офицер полиции Юджин Кабияки взял Дейва под мышки и, вскинув его ноги над тротуаром, поставил перед хохочущей сквозь слезы и трясущейся от рыданий матерью.

На Рестер-стрит собрался народ – родители, дети, почтальон, двое толстячков – владельцев подвального ресторанчика «Свиная котлета» на углу Рестер-стрит и Сидней-стрит – и даже мисс Пауэлл, учительница пятого класса, в котором учились Джимми и Дейв. Джимми стоял рядом с матерью: она прижимала его голову к своей диафрагме и все шупала влажной ладонью его лоб, словно проверяя, не подхватил ли он заразу, ту же, что и Дейв, а когда офицер полиции Кабияки вскинул Дейва над тротуаром, Джимми почувствовал укол ревности – оба весело, по-приятельски смеялись, а хорошенькая мисс Пауэлл хлопала в ладоши.

«Я тоже чуть было не попал в тот автомобиль», – хотелось сказать Джимми. Кому-нибудь сказать, а особенно мисс Пауэлл. Она была красивая и такая чистенькая, а когда она смеялась, видно было, что верхний зубик у нее растет чуть вкось, и в глазах Джимми это делало ее еще красивее. Он сказал бы ей, что тоже чуть не попал в тот автомобиль, и, может, она посмотрела бы на него с тем же выражением, с каким сейчас смотрела на Дейва. Он сказал бы ей, что все время думает о ней и воображает себя старше и за рулем; представляет, как возит ее во всякие интересные места; мечтает, чтобы она улыбалась ему, и они завтракали бы на траве, и она смеялась бы его шуткам так, что виден был бы ее кривой зубик, и гладила бы его по лицу.

Сейчас мисс Пауэлл, как заметил Джимми, чувствовала себя здесь неловко. Она что-то сказала Дейву, погладила его, поцеловала в щеку – дважды поцеловала, чтобы быть точным, – но тут подошли другие люди, и мисс Пауэлл ретировалась. Она стояла в стороне на разбитом тротуаре, разглядывая покосившиеся трехэтажки, крыши, на которых загибались порванные листы толя, обнажая деревянный каркас, и Джимми она показалась моложе, чем раньше, и в то же время строже: словно монашка; мисс Пауэлл пригладила волосы, поправила ворот, короткий нос ее сморщился – не то брезгливо, не то осуждающе.

Джимми хотел было подойти к ней, но мать все еще крепко прижимала его к себе, несмотря на его сопротивление, а мисс Пауэлл тем временем направилась к углу Рестер– и Сидней-стрит, и Джимми было видно, как она кому-то отчаянно машет. К обочине подъехала желтая хипповая машина с открывающимся верхом, с линиями красными цветами на потемневших дверцах. За рулем ее был парень, похожий на хиппи. Мисс Пауэлл села к нему в машину, и они умчались. О нет, подумал Джимми.

Наконец ему удалось высвободиться из материнских рук, и он стоял теперь посреди улицы, глядя на толпу, окружавшую Дейва, и жалея, что не он тогда сел в ту машину – ведь все любили бы сейчас его и он был бы в центре внимания, словно какой-нибудь божок или идол.

Вылилось все это в общий праздник на Рестер-стрит, когда все бегали от камеры к камере, надеясь попасть на телеэкран или увидеть на завтра свою фотографию в утренней газете: «Да, я знаю Дейва, он мой лучший друг, мой одноклассник, отличный парень, благодарение Господу, что все окончилось хорошо».

Кто-то схватил пожарный шланг, и Рестер-стрит словно испустила вздох облегчения, орошенная струями воды, и мальчишки, побросав обувь на тротуар и закатав штаны, плясали и

плескались в этих струях. Подъехала тележка мороженщика, и Дейву разрешили бесплатно взять любое, и даже мистер Пакино, этот жуткий вдовец-маразматик, стрелявший дробью в белок, а иногда и в детей, когда их родители не видели, вечно оравший на всех, чтоб не шумели, даже он – подумайте! – открыл окна и включил свой проигрыватель, и Дин Мартин запел на всю улицу «Воспоминания об этом» и «Воляре» и прочее дерьмо собачье, над которым в другое время Джимми только посмеялся бы, но сейчас оно было вроде кстати. Сейчас музыка вилась над Рестер-стрит, как ленты серпантина. Она смешивалась с шумом водяных струй от насоса. Парни, резавшиеся в карты в задней комнате ресторанчика «Свиная котлета», притащили раскладной стол и портативную жаровню. Вскоре откуда-то появились еще сифоны с «Шлитцем» и «Наррагансеттом», и в воздухе запахло жареными сосисками и итальянскими колбасками, аппетитными копченостями и разогретым углем. Звук открываемых банок с пивом напомнил Джимми парк увеселений в летний воскресный день, когда грудь сжимается от бурной радости, а взрослые дурачатся похлеще детей, и все смеются, помолодевшие, и всем так хорошо друг с другом.

Вот из-за этого-то Джимми, даже помня о самой черной ненависти после отцовских побоев или когда у него крали какую-нибудь вещь, особенно любимую, все-таки ценил жизнь здесь. Ему нравилось, что люди здесь умели словно позабыть вдруг о горестях и невзгодах, о драках, о стычках и неприятностях, словно жизнь их была сплошным весельем; в день святого Патрика, или день города, или иногда Четвертого июля, или когда «Сокс» удачно выступит в сентябрьском чемпионате, или когда нашлось что-то, что считали утерянным, округа взрывалась бешеным весельем.

На Стрелке же все было иначе. На Стрелке тоже, конечно, устраивались совместные празднества, но их планировали заранее, запасались разрешениями, пропусками, и чтобы не поцарапать машину, и чтобы не ступить на газон: осторожнее, пожалуйста, я только что покрасил изгородь.

А на Плешке у половины жителей вообще никаких газонов не было, и изгороди завалились, так что какого черта... И если уж праздник, так праздник, потому что, ей-богу, разве мало мы вкалываем. И в этот день никаких тебе хозяев, никаких тебе налоговых инспекторов и алчных ростовщиков, а что до полицейских, так вот они – веселятся как все люди: офицер полиции Кабияки уплетает острую, с пылу с жару колбаску, а его напарник сует в карман банку с пивом – про запас. Репортеры отправились по домам, и солнце клонится к закату, озаряя улицу угасающим светом; дело к ужину, но никто из женщин не стряпает, и никто не ушел.

Кроме Дейва. Дейва-то и нет, как это обнаружил Джимми, когда, вынырнув из-под насосной струи, выжав отвороты штанов и надев майку, встал в очередь за сосиской. Праздник в честь Дейва был в разгаре, но Дейв, по-видимому, улизнул домой вместе с матерью, и когда Джимми поглядел на их окна на втором этаже, жалюзи там были спущены и вид у окон был неприступный.

Эти спущенные жалюзи почему-то опять вернули его мысли к мисс Пауэлл, к тому, как она села в эту хипповую машину, и ему стало жаль чего-то и грустно при воспоминании о том, как ее ножка ступила в эту машину, перед тем как дверца захлопнулась. Куда она отправилась? Может быть, вот сейчас она мчится по шоссе и ветер раздувает ее волосы, подхватывает их, как волны музыки на Рестер-стрит? Ночь смыкается над ними в их хипповом автомобиле, а они мчатся... куда? Джимми хотел это знать, нет, он не хотел знать этого. Завтра он увидит ее в школе, если, конечно, их не распустят на один день в честь возвращения Дейва, и он ее спросит... нет, спрашивать не надо.

Джимми взял сосиску и сел с ней на кромку тротуара напротив дома Дейва. Когда полсосиски было уже съедено, одна из жалюзи поднялась и он увидел в окне Дейва, глядевшего вниз, прямо на него. Джимми помахал ему половинкой сосиски – дескать, вот он я, но Дейв словно не узнал его, и со второго раза тоже. Он просто глядел вниз. Он глядел прямо на Джимми,

и хотя выражения его глаз Джимми видеть не мог, он чувствовал пустоту и укоризненность его взгляда.

Мать Джимми подошла и присела рядом с ним, и Дейв отошел от окна. Мать Джимми была маленькой хрупкой женщиной с тусклыми волосами. Для такой хрупкой женщины двигалась она так тяжело, словно на каждом плече тащила груды камней; она все время тихонько вздыхала, причем Джимми казалось, что она, наверное, сама не слышит собственных вздохов. Он видел фотографии, где она была снята до своей беременности им. Тогда она была гораздо толще и такая молоденькая, прямо девочка-подросток (если подсчитать, это именно так). Лицо тогда у нее было круглее, и не было этих морщин возле глаз и на лбу, улыбалась она так хорошо, широко улыбалась, только, может, чуть-чуть испуганно или опасливо – Джимми так до конца и не понял. Отец тысячу раз рассказывал ему, что он своим появлением на свет чуть не убил ее: у нее началось кровотечение, кровь все шла и шла, и доктора боялись, что она умрет. После этого, рассказывал отец, она вся высохла, и о других детях уже речи не было. Еще бы, кому охота такую муку да снова...

Мать положила руку ему на колено и сказала:

– Ну, как дела, Жи-Ай Джо?

Мать вечно придумывала ему разные прозвища, с ходу придумывала. Джимми порой даже понять не мог их смысла.

Он пожал плечами:

– Сама знаешь.

– Ты не поговорил с Дейвом.

– Ты, мам, вцепилась в меня и не отпускала.

Мать убрала руку с его колена и обхватила себя за плечи – темнело и становилось холодно.

– Я имела в виду – потом. Пока он еще не ушел.

– Я увижу его завтра в школе.

Мать выудила из кармана пачку «Кента», закурила и тут же выпустила дым.

– Не думаю, чтобы он завтра пошел в школу.

Джимми прикончил свою сосиску.

– Ну, не завтра, так через день-другой. Ведь так?

Мать кивнула и опять выпустила дым. Придерживая себя за локоть, она курила и глядела на окна Дейва.

– Как сегодня было в школе? – спросила она, но казалось, что ответ ей не очень нужен.

Джимми пожал плечами:

– Нормально.

– Я видела эту вашу учительницу. Хорошенькая.

Джимми промолчал.

– Даже очень хорошенькая, – повторила мать, сопроводив эти слова серой лентой дыма.

Джимми по-прежнему молчал. Он часто не знал, что сказать родителям. Мать вечно такая измученная, изможденная. Уставится на что-то, невидимое Джимми, курит одну сигарету за другой и никогда ничего не слышит с первого раза – Джимми приходится все ей повторять. Отец, тот обычно был злой и раздраженный, и даже когда он не злился и вроде бы был весел, Джимми знал, что в любую секунду он может опять превратиться в злобного алкоголика, способного дать затрещину Джимми за какое-нибудь слово, над которым только посмеялся бы полчаса назад. А еще он знал, что, как ни притворяйся, в нем самом тоже сидят и отец, и мать – материнская молчаливость и отцовские вспышки ярости.

Когда Джимми переставал думать о том, как хорошо быть парнем мисс Пауэлл, он начинал прикидывать, каково быть ее сыном.

Сейчас мать смотрела на него, держа сигарету возле уха, буравила пристальным взглядом маленьких глаз.

– Чего ты? – спросил он со смущенной улыбкой.

– У тебя чудная улыбка, Кассиус Клей.

И она улыбнулась ему в ответ.

– Да?

– Правда, правда! Вырастешь – будешь настоящим сердцеедом.

– Угу. Вот и пусть, – сказал Джимми, и оба рассмеялись.

– Мог бы быть и поразговорчивее, – заметила мать.

«Да ведь и ты могла бы», – хотелось сказать Джимми.

– А впрочем, и так сойдет. Женщины любят молчаливых.

Из-за плеча матери Джимми увидел отца, неверными шагами выходившего из дома в мятой одежде, с лицом, опухшим не то со сна, не то с перепоя, не то от того и другого вместе. На собравшихся он смотрел недоуменно, словно не понимая, откуда взялись эти люди и зачем они здесь.

Мать проследила за взглядом Джимми, потом перевела глаза на него. Теперь она опять была измученная, улыбка исчезла с ее лица так бесповоротно, что казалось странным, что она вообще была способна улыбаться.

– Эй, Джим...

Он любил, когда она звала его «Джим». Это рождало между ними особую доверительность.

– Да?

– Я так рада, что ты не полез в ту машину, мальчик мой!

Она поцеловала его в лоб, и Джимми увидел, как заблестели ее глаза, а потом она встала и, повернувшись к мужу спиной, отправилась туда, где были матери других мальчиков.

Джимми поднял глаза и увидел в окне Дейва, опять глядевшего вниз прямо на него. Позади Дейва в комнате горел мягкий желтый свет. На этот раз Джимми даже и не сделал попытки помахать ему. Теперь, когда и полиция и репортеры разошлись, а праздник был в полном разгаре и, наверное, все уже позабыли, что именно они празднуют, Джимми остро почувствовал, каково там Дейву – в одиночестве, если не считать его полоумной матери, среди бурых стен, под тусклым огнем желтой лампы, в то время как внизу на улице все бурлило весельем.

И он тоже порадовался, что не влез тогда в ту машину.

Порченный. Вот слово, сказанное отцом Джимми. Он так и сказал накануне вечером: «Хоть они и нашли его живым и здоровым, все равно он теперь порченный и прежнего не вернешь».

Дейв приподнял одну руку. Приподнял до локтя и застыл, не двигая ею, и когда Джимми помахал ему в ответ, то почувствовал, как тоска заползает в душу, в самую глубину ее, и там растекается, расходится рябью. Он не знал, почему его охватила тоска: из-за отца, или из-за матери, или из-за мисс Пауэлл и всех этих соседей, или из-за того, как поднял руку Дейв, стоя, словно манекен, в окне, но что бы ни было ее причиной – что-нибудь одно или все, вместе взятое, – он знал, что тоска эта впредь его уже не покинет. Вот он сидит на кромке тротуара, одиннадцатилетний мальчик, но одиннадцатилетним он себя не чувствует. Он постарел. Стал старше, как родители, как эта улица.

«Порченный», – подумал Джимми и уронил руку на колени. Он глядел, как, кивнув ему, Дейв опустил жалюзи, замкнувшись в своей тихой, как гроб, квартире с бурыми стенами и тикающими ходиками, и тоска, шевельнувшись, удобно угнездилась в душе, в самой сердце-вине ее, как в уютной берлоге, и ее уже не выманить наружу, даже и пытаться нечего, потому что какая-то часть его знает: это бесполезно.

Он встал с тротуара, еще не зная, для чего: он ощутил неодолимое беспокойное желание не то разбить что-то, не то сделать что-нибудь невиданное, безумное. Но забурчало в животе, и он понял, что не наелся, и отправился за новой сосиской в надежде, что они еще не кончились.

На несколько дней Дейв Бойл стал маленькой сенсацией не только в округе, но и во всем штате. Заголовок утренней «Рекорд америкен» гласил: «Пропавший мальчик найден», а фотография на развороте запечатлела сидящего на крыльце Дейва, обхватившую его худыми руками мать, а вокруг заглядывающих с обеих сторон в объектив местных сорванцов, и лица веселые и счастливые у всех, кроме матери Дейва, которая выглядела так, словно пропустила автобус и придется долго ждать на морозе.

Не прошло и недели, как те же мальчики с фотографии стали дразнить его в школе «педиком». На их лицах читалась ненависть, и Дейв не понимал ее причины, да и они сами вряд ли ее понимали. Мать говорила, что они могли что-то слышать от родителей, и советовала Дейву не обращать внимания – скоро им это наскучит, они все забудут и станут, как прежде, его друзьями.

Дейв кивал, а сам думал, что, наверное, в лице у него есть что-то, некая отметина, которую сам он не видит, и из-за нее всем хочется его обижать. Например, тем мужикам в машине. Вот почему они выбрали именно его? Откуда им было известно, что он влезет в машину, а Шон и Джимми – нет? Дейв пришел к такому выводу, вспоминая то, что произошло. Мужики эти (он знал их имена или, по крайней мере, знал, как они обращались друг к другу, но не мог себя заставить мысленно называть их по именам) чувствовали, что ни Джимми, ни Шон так просто не сдадутся: Шон может с криком ринуться домой, ну а Джимми... чтобы заполучить Джимми, им придется избить его до полусмерти. Жирная Бестия даже сказал это в машине: «Видал того мальчонку в белой футболке? Как он смотрел на меня, видел? Без всякого страха смотрел, надо же! Вырастет, прищепит кого-нибудь, такому это раз плюнуть!»

Напарник его, Волчара, улыбнулся:

– Что до меня, то я подрасться всегда не прочь.

Жирная Бестия покачал головой:

– Да он бы тебе палец откусил, если б ты его в машину потянул. Откусил бы и не поморщился, негодник!

Прозвища помогали: Волчара и Жирная Бестия. Помогало, если представить их дикими зверями – волками в человеческом обличье, а себя, Дейва, персонажем из сказки – Мальчиком, Украденным Волками и бежавшим от них, пробиравшимся диким болотистым лесом до самой бензозаправки; Мальчиком Хладнокровным и Ловким, всегда знающим, что надо делать.

В школе же он оставался Мальчиком, Которого Украли, и каждый чего только не придумывал про те четыре дня его отсутствия. Однажды утром в школьном туалете рядом с Дейвом оказался семиклассник по фамилии Маккафери-младший. Подойдя вразвалку к писсуарам, он бросил Дейву: «Ну что, пососал ты им?», и все его дружки-семиклассники заржали и издевательски зачмокали.

Дрожащими руками Дейв застегнул ширинку и, вспыхнув, повернулся к Маккафери-младшему. Он постарался придать лицу злобное выражение, и Маккафери нахмурился и дал ему пощечину.

Эхо пощечины звонко прокатилось по туалету. Какой-то семиклассник даже ахнул по-девчачьи.

Маккафери сказал:

– Ну что, язык проглотил, педик? А? Может, тебе еще добавить?

– Он плачет, – сказал кто-то.

– Еще бы! – хохотнул Маккафери-младший, и у Дейва ручьем потекли слезы.

Щека, сначала онемевшая, теперь саднила, но плакал он не от боли. Боли он не очень боялся и никогда не плакал от нее, даже когда, грохнувшись с велосипеда, располосовал себе педалью щиколотку так, что пришлось зашивать – семь швов наложили тогда. Плакать заставляло то, что исходило от этих мальчиков и резало как острый нож. Он чувствовал волны ненависти, отвращения, гнева и презрения. И все это было направлено на него. Непонятно почему. Ведь он за всю свою жизнь никого не обидел. А они его ненавидели. И ненависть эта рождала в нем сиротливое чувство. Ему казалось, что от него воняет, что он ничтожен и в чем-то провинился, и плакал он оттого, что не хотел больше это чувствовать.

Слезы его вызвали всеобщий смех. Маккафери даже запрыгал от удовольствия; гримасничая и строя рожи, он изображал плачущего Дейва. Когда же Дейв наконец совладал с собой и рыдания его перешли в сдвоенные всхлипы, Маккафери опять дал ему пощечину, такую же сильную и в ту же самую щеку.

– Погляди на меня! – приказал Маккафери, когда Дейв опять зарыдал и новые потоки слез хлынули из глаз мальчика. – На меня гляди!

Дейв поднял глаза на Маккафери, надеясь увидеть на его лице сострадание, доброе участие, пускай даже жалость, но увидел он лишь злобный смеющийся оскал.

– Угу, – заключил Маккафери, – ясное дело, пососал.

Он опять замахнулся, и Дейв втянул голову в плечи и пригнулся, но Маккафери не стал его бить, а, смеясь, отошел со своими друзьями.

Дейв вспомнил слова мистера Питерса, маминого приятеля, иногда остававшегося у них ночевать. Однажды тот сказал ему:

– Двух вещей ты не должен никому прощать – плевка и пощечины. И то и другое хуже, чем пинок или зуботычина, и того, кто это сделал, надо постараться убить, если удастся.

Дейв сидел на полу в туалете, думая, как было бы хорошо, если б в нем это было – решимость убить. И начал бы он, наверное, с Маккафери-младшего, а потом очередь дошла бы до Волчары и Жирной Бестии, если они ему попадутся. Но положив руку на сердце, он понимал, что не сможет этого сделать. Он не знал, почему люди так злобятся друг на друга. Это было странно. Непостижимо.

После случая в туалете слух о нем пополз по школе, так что всем, начиная с малышей-третьеклассников и до самых старших школьников, стало известно, как обошелся Маккафери-младший с Дейвом и как повел себя при этом Дейв. Приговор был вынесен, после чего Дейв обнаружил, что даже те немногие одноклассники, которых он мог с грехом пополам счесть приятелями, стали шарахаться от него, как от прокаженного.

Не все из них дразнили его «гомиком» или корчили обидные гримасы при его появлении, большинство одноклассников просто его не замечали. И это было еще обиднее. Окруженный молчанием, он чувствовал себя изгоем.

Если, выбегая утром из дому, он налетал на Джимми Маркуса, тот молча шел с ним рядом до самой школы, потому что неудобно было бы не идти, а столкнувшись в вестибюле или в дверях класса, они обменивались приветствиями. Встречаясь с Джимми взглядом, Дейв замечал у него в глазах странную смесь жалости и смущения, словно Джимми силится что-то сказать, но не может подобрать нужных слов – ведь Джимми и в лучшие-то времена не был особенно речист, кроме тех случаев, когда его внезапно захватывала какая-нибудь нелепая идея: спрыгнуть на рельсы или украсть автомобиль. Но сейчас Дейв чувствовал, что их дружба (а он, честно говоря, начал сомневаться, что это была настоящая дружба, и со стыдливой досадой вспоминал, как часто навязывал приятелю свое общество) после того, как он сам влез в ту машину, а Джимми остался недвижим на тротуаре, как-то выдохлась и сошла на нет.

Как выяснилось, Джимми недолго предстояло еще учиться в одной с Дейвом школе, так что встречи по утрам вскоре прекратились. В школе Джимми теперь вечно ошивался с Вэлом Сэвиджем, маленьким узколобым парнишкой, известным тем, что его дважды задерживала

полиция, а также своим буйным нравом – способностью впадать в совершенно неконтролируемую ярость, пугая этим как одноклассников, так и учителей. Про Вэла говорили (хоть и украдкой), что родители его копят деньги не на колледж сыну, а для того, чтобы вызволить его из тюрьмы. Еще до случая с машиной Джимми в школе вечно ошивался с этим Вэлом. Иногда они брали в компанию и Дейва, например устраивая набег на школьную кухню в поисках остатков продуктов или обнаружив новую, еще не освоенную крышу, чтобы с нее прыгать. Но после истории с машиной Дейва совсем отлучили. Когда ему удавалось отвлечься от ненависти, которую вызывала в нем его внезапная изоляция, Дейв замечал, что темное облако, иногда словно витавшее над Джимми, теперь сгустилось и уже не покидало его никогда, окружая как бы темным ореолом. Джимми стал старше и грустнее.

Машину он в конце концов все-таки украл. Случилось это спустя без малого год после той его прерванной попытки возле дома Шона, и стоило это Джимми перехода в другую школу – ему пришлось ездить на автобусе чуть ли не через весь город в так называемую «Карвер-скул» и узнать на своей шкуре, каково в школе, по преимуществу черной, быть белым мальчишкой из Ист-Бакинхема. Вэл, правда, ездил туда же вместе с ним, и вскоре до Дейва дошло, что они уже терроризируют всю школу – эти ненормальные белые ребята, не знающие, что такое страх.

Украденная машина была с открывающимся верхом. По слухам, принадлежала она дружку какой-то из учительниц их школы, хотя кому именно, Дейв так и не узнал, и спер ее Вэл со школьной стоянки, когда учителя с супругами и друзьями-приятелями справляли в школе окончание учебного года. Джимми сел за руль, и они с Вэлом вволю поколесили по Бакинхему на полной скорости, сигналига направо и налево и маша встречным девчонкам, пока их не застучала полицейская машина и они не врезались у Роум-Бейсин в стоявший «дампстер». Выпрыгивая из машины, Вэл вывихнул лодыжку, и Джимми, который был уже у самого забора, а перелезши, очутился бы на пустыре, вернулся помочь другу. Дейву всегда это представлялось сценой из боевика: храбрый солдат возвращается, чтобы вытащить с поля боя упавшего товарища, а кругом ложатся пули и рвутся снаряды (хотя Дейв и сомневался в том, что полицейские применили бы оружие, но так было круче). Полицейские сцапали их обоих, и ночь они провели в камере. Им разрешили закончить шестой класс, так как до конца года оставалось всего несколько дней, но родителям объявили, что им следует подыскать для мальчиков другую школу.

После этого Дейв почти не видел Джимми – так, раз-другой за несколько лет. Мать Дейва не разрешала ему выходить из дому, кроме как в школу и обратно. Она была уверена, что те двое все еще караулят его, разъезжая в своей пропахшей яблоками машине, и стоит ему выйти за порог, они кинутся на него, как коршуны или как ракета с тепловой наводкой.

Дейв знал, что это не так. Ведь в конце концов они волки, а волки вынюхивают в ночи добычу самую удобную – животных слабых и больных, – а учуяв, преследуют, пока не загрызут. Но мысли о них теперь часто посещали его вместе с картинами того, что они с ним делали. Во сне картины эти его не мучили. Они возникали днем, неожиданно-негаданно, в долгом молчании, когда он пытался сосредоточиться на комиксе, или смотрел телевизор, или просто глядел из окна на Рестер-стрит. Они являлись, а Дейв старался прогнать их, закрывая глаза, изгоняя из памяти, что Жирную Бестию звали Генри, а Волчару – Джорджем.

«Генри и Джордж! – кричало в нем что-то, когда на него обрушивались картины. – Генри и Джордж! Генри и Джордж, засранец ты этакий!»

Дейв спорил, говорил этому внутреннему голосу, что вовсе он не засранец, он Мальчишка, Сбежавший от Волков. И иногда, чтобы прогнать картины, он вновь проигрывал про себя свой побег, вспоминая детали и как все это было – как он заметил трещину в переборке возле дверной петли и услышал звук отъезжающей машины – значит, те отправились по кабакам, – и как сломанной отверткой он расширял и расширял щель, пока петля не оторвалась, выдрав из двери узкий, как нож, деревянный клин, и как он выбрался за переборку, он, Лов-

кий Мальчик, и со всех ног помчался к лесу, и как он шел на закатное солнце и вышел к бензозаправке «Эссо» в миле от опушки. Видение это – круглый бело-голубой знак «Эссо», уже горевший неоновым светом, хотя солнце еще не совсем зашло, – совершенно потрясло Дейва, потрясло так, что он опустился на колени, где стоял, – на опушке, где лесная тропа переходила в серый асфальт старого шоссе. В этой позе и нашел его Рон Пьеро, владелец бензозаправки: на коленях, с мольбой глядящего на знак «Эссо». Рон Пьеро был художав, но с такими сильными руками, что казалось, ими можно ломать свинцовые трубы, и Дейв нередко воображал, что было бы, если б Мальчишка, Сбежавший от Волков, был действительно персонажем боевика. Тогда они с Роном стали бы корешами, и Рон обучил бы его всему, чему обычно отцы учат сыновей; они оседлали бы коней, вскинули на плечи ружья и отправились бы навстречу бесконечным приключениям. Они бы здорово проводили время – Рон и Мальчишка – герои, охотники на волков.

Шону снилось, что улица двигалась. Он заглянул в открытую дверцу машины, которая пахла яблоками, и улица подхватила его и пихнула в машину. Там на заднем сиденье уже скрючился Дейв; рот его был открыт в беззвучном вопле. Во сне Шон видел только это – открытую дверцу и заднее сиденье. Того мужика за рулем, что был похож на полицейского, во сне он не видел. Как и его напарника на переднем сиденье. И Джимми он не видел, хотя тот был рядом. Он видел только заднее сиденье, и Дейва, и мусор на полу. Как это он не обратил внимания на то, что должно было сразу насторожить – на этот мусор на полу? Салфетки из закуской, скомканные пакетики из-под чипсов, пивные и лимонадные банки, пластиковые стаканчики для кофе и грязная засаленная фуфайка. Лишь проснувшись и вспоминая свой сон, он понял, что и заднее сиденье, и мусор на полу на самом деле были в той машине, но раньше мусора этого он не помнил, а вспомнил только сейчас. Даже когда полицейские, заявившись к ним в дом, просили его подумать и хорошенько вспомнить все детали, которые он, может быть, упустил в рассказе, он не сказал, что пол и заднее сиденье были замусорены, потому что не помнил этого. Но потом, во сне, это всплыло, и именно это больше, чем все остальное, подсказало ему, пусть он этого и не видел, что что-то тут неладно с этим «полицейским», его «напарником» и их машиной. Шону не доводилось прежде видеть внутренность полицейской машины, особенно вблизи, но он подозревал, что мусора там быть не может. Наверно, там валялись еще и яблочные огрызки – отсюда и запах.

Через год после случая с Дейвом отец зашел к Шону в комнату, чтобы сообщить ему две вещи.

Первая – это то, что Шона приняли в Латинскую школу и что с сентября он будет учиться там в седьмом классе. Отец сказал, что они с матерью горды и счастливы, потому что Латинская школа – это как раз то, что нужно, если хочешь чего-то добиться в жизни.

А вторую вещь он сообщил ему чуть ли не мимоходом, уже когда уходил:

– Одного из них поймали, Шон.

– Из кого «из них»?

– Из тех двоих, что увезли Дейва. Они поймали его. Он умер. Покончил с собой в камере.

– Правда?

Отец внимательно посмотрел на него:

– Правда. Можешь перестать мучиться по ночам кошмарами.

Но Шон сказал:

– Ну а второй?

– Тот, кого поймали, – сказал отец, – дал показания полиции, что второй погиб в автомобильной катастрофе еще в прошлом году. Ясно? – По взгляду отца, которым тот окинул Шона, мальчик понял, что больше отец ничего не скажет и что тема исчерпана. – Так что иди мой руки, будем обедать.

Отец ушел, а Шон опустился на кровать с матрасом, выпиравшим там, где под него была подсунута бейсбольная перчатка-ловушка с мячом внутри – красная резина крепко обхватывала кожу.

Значит, и второй погиб. В автомобильной катастрофе. Шон надеялся, что, рухнув с обрыва в машине, которая пахла яблоками, он угодил оттуда прямо в адское пекло – как был, вместе с машиной.

II Грустноглазые Синатры (2000)

3 Слезы в ее волосах

Брендан Харрис безумно любил Кейти Маркус. Это была любовь как в кино, будто в крови у него гремела музыка и музыка звучала в ушах. Он любил ее, когда она просыпалась и когда ложилась в постель; любил ее весь день напролет и в каждую секунду этого дня. Брендан Харрис любил бы Кейти Маркус и растолстевшую, и безобразную. И если бы она покрылась прыщами или была безгрудой, или если б у нее росли усы. Он любил бы ее и беззубой. И лысой.

Кейти. Самый звук ее имени, проносясь в мозгу, наполнял мышцы Брендана веселящим газом, так что казалось, он и по воде пройдет, и поднимет в воздух автобус, а подняв, швырнет его через улицу.

Брендан Харрис сейчас любил всех и каждого, потому что он любил Кейти, а Кейти любила его. Он любил толкучку в вагоне, пахнущий гарью туман и визг отбойных молотков. Он любил своего никчемного старикана-отца, который ни разу не послал ему открытки ни на Рождество, ни в день рождения с тех самых пор, как бросил их с матерью, когда Брендану было шесть лет. Он любил утра понедельников; и глупые комедии, над которыми даже слабоумный и тот не смеется; и стояние в очередях. Он даже работу свою любил, хотя больше он на нее и не пойдет.

Завтра утром Брендан оставит этот дом, оставит мать, выйдет из обшарпанной двери и по разбитым ступенькам спустится на широкую улицу, окаймленную двумя рядами припаркованных машин, выйдет словно под музыку, и не какую-нибудь заезженную чушь собачью, а под звуки гимна. Да, гимна – вот как он выйдет на улицу и пойдет по середине мостовой, и пусть на него чуть не наезжают машины, сигналив клаксонами, он пойдет в самый центр Бакинхема, возьмет за руку свою Кейти, и потом они навсегда уедут отсюда, взбегут по трапу самолета, отправятся в Лас-Вегас, и там свяжут свои судьбы крепко и нерушимо, а Элвис прочтет из Библии и спросит, берет ли он в жены эту женщину, а потом спросит у Кейти, берет ли она в мужа этого мужчину, – и конец, сделано раз и навсегда. Они поженятся и не вернутся сюда никогда в жизни, назад пути не будет, а будут только они с Кейти и сияющая и чистая дорога впереди, жизненный путь, очищенный от прошлого, от всего окружающего.

Он оглядел комнату. Одежда упакована. Дорожные чеки «Америкен экспресс» упакованы. Сапоги упакованы. Фотографии его и Кейти. Портативный плеер, диски, туалетные принадлежности – все упаковано.

Он оглядел то, что оставалось. Постеры – Берд и Пэриш, Фиск, уделавший всех на соревнованиях в 75-м. Постер с Шарон Стоун в белом узком платье (свернутый и засунутый под кровать с того вечера, когда он впервые залучил к себе Кейти, но все же...). Половина всех дисков – тех, что он слушал раза два, не больше, все эти Макхаммеры и Билли Рей Сайрусы, будь они неладны... И пара обалденных, в двести ватт, усилителей фирмы «Сони», часть его настольной Иенсеновской системы – и за них он расплатился прошлым летом, когда крыл крышу Бобби О'Доннелу.

Тогда он впервые смог заговорить с Кейти. Господи. И всего-то год прошел, а кажется, не то десять лет, не то одно мгновение. Кейти Маркус. Он знал ее, конечно, – кто в этом районе не знал ее, такую красотку? Но мало кто знал ее по-настоящему. С красавицами всегда так.

Это только в кино, на экране красота располагает и кажется доступной, а на самом деле она как высокая ограда, которая не пускает тебя, заставляет сторониться.

Но Кейти, ребята, с самого первого дня, когда заявила на строительную площадку вместе с Бобби О'Доннелом и он оставил ее там, потому что ему и его друзьям пришлось отлучиться по какому-то неотложному делу и они словно забыли о ней, так вот она с самого начала была такая простая, такая естественная; она вертелась возле Брендана и не отошла даже тогда, когда он занимался сваркой – пижонка этакая. Она знала, как его зовут, и сказала: «Как же такой хороший парень, как ты, Брендан, стал работать на Бобби О'Доннела?» Брендан. Она произнесла это имя так легко, словно век повторяла его. Брендан, стоявший в это время на краю крыши, чуть не свалился оттуда в обмороке. Именно в обмороке. Ей-богу. Вот как она на него действовала.

А завтра, как только она позвонит, они уедут. Уедут вместе. Уедут навсегда.

Откинувшись на подушки, Брендан воображал себе ее лицо. Оно плыло над ним, как луна. Он знал, что не заснет. Слишком взвинчен, чтобы заснуть. Ну и пусть. Он лежал в темноте, а Кейти плыла над ним, улыбаясь, и глаза ее блестели, освещая мрак.

В этот вечер после работы Джимми Маркус и его родственник Кевин Сэвидж зашли выпить пива в «Охотнике» и сейчас сидели за столиком у окна, наблюдая, как мальчишки на улице играли в травяной хоккей. Мальчишек было шестеро, и, борясь с надвигающейся темнотой, они продолжали играть, и в сумраке их лица казались стертыми. «Охотник» располагался в закоулке возле боен, и для хоккея это было, с одной стороны, хорошо, потому что машины сюда почти не заезжали, а с другой – плохо, так как фонари в этом месте уже второй год не горели.

Кевин был хорошим собутыльником, потому что был не слишком словоохотлив, как и Джимми, и они сидели и тянули свое пиво, слушая шарканье резиновых подошв, стук деревянных клюшек и внезапный металлический скрежет, когда от удара резина соскакивала со стержня.

В тридцать шесть лет Джимми Маркус полюбил тишину этих субботних вечеров. Он не стремился в шумные оживленные бары с их сутолокой и пьяными разговорами по душам. Тринадцать лет прошло с тех пор, как он отбыл срок, заимел магазинчик, жену и трех дочерей и сам поверил, что необузданный мальчишка, которым он был когда-то, превратился в мужчину, больше всего в жизни ценящего спокойную размеренность – без спешки выпить пивка, прогуляться поутру, послушать по радио репортаж с бейсбольного матча.

Он поглядел в окно. Четверо мальчишек, сдавшись, разошлись по домам, но двое оставались – в сгущавшейся тьме слышались звуки хоккейной схватки. Фигуры были едва различимы, но в стуке клюшек и напряженном топоте чувствовалась яростная энергия.

Ему требовался выход, этому юношескому напору. Когда Джимми был подростком и даже потом, лет эдак до двадцати трех, каждое его действие порождалось этой энергией. Ну а потом... Потом, наверное, учишься ее прятать. Запихиваешь куда подальше.

Его старшая дочь Кейти как раз сейчас этому учится. Девятнадцать лет, красотка, гормоны в ней так и играют. А в последнее время он заметил в ней перемену, какое-то новое изящество появилось в ней, и он не мог понять, откуда что взялось: некоторые девушки, взрослея, так расцветают, другие же всю жизнь остаются девчонками, а вот в Кейти он стал внезапно замечать некую умиротворенность, безмятежность.

Сегодня в лавке, уходя, она поцеловала Джимми, сказав: «Ну, пока, папа», и даже пять минут спустя отзвук ее голоса теплом наполнял его грудь. Это был голос ее матери, он почувствовал это, более низкий и уверенный, чем знакомый ему дочкин голос, и Джимми растерянно думал сейчас о том, что могло так повлиять на голосовые связки и почему раньше он не замечал перемены.

Голос ее матери. Женщины, которая вот уже скоро четырнадцать лет как умерла и чей голос Джимми услышал сейчас в голосе дочери. «Она взрослая женщина, – думал Джимми, – она взрослая».

Женщина... Бог мой... Как же это произошло?

Дейв Бойл даже никуда не собирался в этот вечер. Хотя это и субботний вечер, завершающий трудную рабочую неделю, но Дейв уже достиг того возраста, когда что суббота, что вторник – все равно, а выпивка в баре ничуть не предпочтительнее стаканчика дома. Дома даже и удобнее: не надо думать об обратной дороге.

Поэтому, когда все было позади и кончено, он усмотрел в этом руку Судьбы. Судьба и раньше вмешивалась в его жизнь, Судьба или Случай, по преимуществу несчастный, но чтобы вот так почувствовать ее *направляющую* руку, раньше этого не бывало, она все больше портила, взбалмошно и злобно сокрушая его замыслы. Как будто сидя там, где-то у себя на облаках, Судьба слышала голос: «Скучаешь, Судьба? Почему бы не поразвлечься чуток, не ущучить Дейва Бойла? Ну что на этот раз придумаешь?»

Так что Дейв был с ней хорошо знаком и узнавал по почерку.

Возможно, в этот субботний вечер Судьба праздновала день рождения или другой какой-то праздник и решила наконец дать Дейву передышку, разрешила немного встряхнуться без того, чтоб отвечать за последствия. Судьба словно сказала: «Давай, Дейви, вдарь как следует. Обещаю, что на этот раз ответного удара не будет». Так запасному, которого не пускают на поле, в кои-то веки разрешают бить пенальти. Потому что это не было предумышленно, не планировалось заранее. Нет, не планировалось. Дейв и сам потом твердил по ночам в пустоту кухни, клятвенно, словно перед судом, стискивая руки: «Пойми ты, это не планировалось».

В тот вечер он, пожелав спокойной ночи сыну Майклу и поцеловав его на ночь, спустился вниз и направлялся к холодильнику за пивом, когда его жена Селеста напомнила ему, что сегодня девичник.

– Опять? – Дейв открыл холодильник.

– Месяц прошел, – игриво и нараспев ответила Селеста тоном, от которого у Дейва иногда по спине ползли мурашки.

– Круто. – Опершись на посудомоечную машину, Дейв открыл пиво. – Что намечено на этот раз?

– «Мачеха», – объявила Селеста, глаза ее весело блеснули, она хлопнула в ладоши.

Раз в месяц Селеста и трое ее товарок по парикмахерскому салону «Озма» собирались вместе на квартире Дейва и Селесты Бойл, чтобы раскинуть карты Таро, выпить винца и испробовать какой-нибудь новый кулинарный рецепт. Обычно вечер завершался просмотром очередной душещипательной картины – о какой-нибудь деловой женщине, очень успешно продвигающейся по службе, но глубоко несчастной и одинокой и вдруг обретшей великую любовь и потрясающего любовника в лице могучего фермера, или о двух девчонках, только-только начавших ощущать себя женщинами и осознавших истинную природу своих чувств друг к другу, но внезапно получающих жестокий удар: у одной из них оказывается тяжкий недуг в последней стадии и она умирает – красивая и аккуратно, волосок к волоску, причесанная, – на широкой, как море, кровати.

Во время таких девичников Дейву предоставлялся следующий выбор: он мог удалиться в комнату Майкла и там глядеть на спящего сына, мог укрыться в их с Селестой спальне и там посмотреть кабельное телевидение или же убраться поскорее из дому, чтобы не быть свидетелем того, как подружки проливают слезы, когда фермер, принявший решение не дать себя захмутать, скачет обратно к себе в захолустье для жизни вольной и первобытно-прекрасной.

Обычно Дейв выбирал третий путь.

И в этот вечер все было как обычно. Он прикончил пиво, поцеловал Селесту, почувствовал нежный холодок в животе, когда она ущипнула его за бедро и крепко поцеловала в ответ, а потом вышел за дверь, спустился по лестнице мимо квартиры мистера Макалистера и, пройдя через парадное крыльцо, очутился на вечерней субботней Плешке. Думая, куда направиться – дойти до «Баки» или прошвырнуться подальше, до «Охотника», постоял в нерешительности возле дома, после чего выбрал автомобильную прогулку. Можно доехать до Стрелки, поглазеть на студенток колледжа и тамошних хлыщей – последних там клубится тьма-тьмушая, иные даже на Плешку просачиваются.

Они захватили кирпичные трехэтажки, которые теперь уже и не трехэтажки, а особняки в стиле королевы Анны. Окружив их лесами, они выпотрошили внутренности домов, заставив рабочих трудиться день и ночь, чтобы месяца три спустя Л.-Л. Вине мог выставить у тротуара свои «вольво» и втащить вовнутрь коробки со своей керамикой. За ставни тихой сапой вполз джаз, и теперь они попивают дорогие напитки из самых фешенебельных винных подвалов, прогуливают по кварталу своих такс и разбивают у фасадов изысканные газоны. Пока что изменились лишь трехэтажки на Гэлвин– и Туми-авеню, но если так пойдет дело, то, судя по всему, скоро их «саабы» доползут до Канала и самого сердца Плешки.

На прошлой неделе мистер Макалистер, домовладелец, лениво и как бы невзначай бросил:

– Цены на жилье поползли вверх, и сильно вверх.

– Так вам и карты в руки, – сказал Дейв, окидывая взглядом дом, в котором вот уже десять лет как снимал квартиру. – И если так дальше пойдет, вы могли бы...

– Если так дальше пойдет? – Лицо Макалистера приняло скептическое выражение. – Да меня налогами на собственность задушат! Это ж фиксированный доход! Сейчас продать не решусь? Ну так года через три налоговые инспектора меня все равно слопают.

– И куда же вы денетесь? – спросил Дейв, а про себя подумал: «А я куда денусь?»

Макалистер пожал плечами:

– Не знаю. Может, в Веймут подамся. У меня друзья в Леоминстере.

Сказал это так, словно уже сделал ряд звонков или наведалься в кое-какие пустующие дома.

Въезжая на своем «аккорде» на Стрелку, Дейв старался припомнить, кто из его знакомых-ровесников или моложе еще остался здесь. Притормозив на красный свет, он заметил двух хлыщей в одинаковых ярко-красных водолазках и шортах цвета хаки – бесполое, хоть и мускулистое, они сидели за столиком возле бывшей пиццерии «Примо», ныне превращенной в кафе «Высший свет», и ели ложечками не то мороженое, не то застывший йогурт; их загорелые ноги, вытянутые и скрещенные у щиколоток, перегораживали тротуар, а к витрине были прислонены два горных велосипеда, сверкающих в неоновом свете витрины.

Дейв думал, куда он, к черту, денется, если хищная предприимчивость переселенцев, возобладав, поглотит его. Если так пойдет дело и пиццерии станут превращаться в кафе, то на деньги, что зарабатывают они с Селестой, они с трудом и двухкомнатную-то осият где-нибудь на Паркер-Хилл. А оттуда, попав в список постоянных должников, они переберутся уже в настоящую трущобу, где лестничные клетки пахнут мочой и валяются дохлые крысы, и вонь от них смешивается с запахом плесени на стенах, и по подъездам шастают наркоманы и уголовники с ножами, и едва зазеваешься, плохо тебе придется.

С тех пор как местные бандиты гнались за его автомобилем, когда он ехал с Майклом, Дейв держал под сиденьем пистолет двадцать второго калибра. Стрелять он из него не стрелял ни разу, даже в тире, но любил ощупывать его и заглядывать в ствол. Он доставил себе удовольствие, представив, как выглядели бы эти двое хлыщей-близнецов на мушке, и улыбнулся. Но зажегся зеленый свет, а он все еще стоял, и сзади нетерпеливо засигналили клаксоны, хлыщи подняли взгляд, чтобы посмотреть, почему шум, и оглядели его обшарпанную машину.

Дейв газанул с перекрестка, задыхаясь от ненависти под их недоуменными ироническими взглядами.

В этот вечер Кейти Маркус и две ее лучшие подруги Дайана Честра и Ив Пиджен отправились праздновать расставание Кейти с Плешкой, а может быть, и с Бакинхемом. Праздновать так, словно цыганки, осыпав их золотым дождем, напороочили им исполнение всех желаний. Праздновать так, словно все втроем выиграли в лотерею или получили отрицательный результат в тесте на беременность. Они кинули на стол свои сигареты с ментолом и крепко выпили в задней комнате «Спайрес паба», взвизгивая всякий раз, когда какой-нибудь славный паренек подмигивал одной из них. Час назад они до отвала наелись в гриле на Ист-Коуст, а затем вернулись в Бакинхем и, перед тем как завернуть в бар на стоянке, выкурили дозу. Все – и рассказы, которые они слышали по несколько раз и знали как свои пять пальцев, и то, что Дайану опять прибил ее дружок, сволочь такая, и пятно от губной помады на щеке Ив, и двое толстяков у игорного стола – все веселило их до умопомрачения.

Когда в баре стало не протолкнуться, а чтобы взять порцию у стойки, надо было прождать минут двадцать, они переместились на Стрелку в «Керли Фолли»; перед этим они выкурили в машине еще одну дозу, и Кейти ощутила на сердце когтистую лапу какого-то дурного предчувствия.

– Эта машина нас преследует.

Ив взглянула в зеркальце заднего вида:

– Ничего подобного.

– Она едет за нами от самого бара.

– Да что ты, сдурела, Кейти-малышка, она и всего-то с полминуты как появилась!

– Уф-ф.

– Уф-ф, – передразнила ее Дайана и, хохотнув, передала сигарету Кейти.

– Все спокойно, – пробасила Ив.

Кейти поняла, куда клонит Ив.

– Заткнись ты.

– Даже слишком спокойно, – поддержала подругу Дайана и прыснула.

– Дуры вы... – Кейти хотела рассердиться, но вместо этого ее вдруг охватил приступ смеха. Она хотела откинуться на спинку сиденья, но завалилась набок, так что голова ее очутилась между подлокотником и сиденьем; щеки ее горели, и кожу на щеках странно покалывало, как бывало всегда в те редкие случаи, когда она курила марихуану.

Смеяться больше не хотелось, и клонило в сон. Уставившись на бледный купол света, она думала о том, что вот оно, счастье, – посмеяться хорошенько, по-дурацки посмеяться с лучшими подругами в последний вечер перед свадьбой с любимым человеком. (В Лас-Вегасе, подумать только! С перепоя. Ну и ладно.) Все равно это здорово. Это счастье.

Четыре бара, три порции и пара телефонных номеров, записанных на салфетке, так развеселили Кейти и Дайану, что в «Макджилсе» они вспрыгнули на стойку и пустились в пляс под «Кареглазку», хотя музыкальный автомат и не работал. Ив пела «Скользя и качаясь», и Кейти с Дайаной скользили и качались, самозабвенно крутя бедрами и головой, пока не рассыпалась прическа. Парни в «Макджилсе» были в восторге, но двадцать минут спустя у Брауна девушки и в дверь-то с трудом могли войти.

Дайана и Кейти с двух сторон подпирали Ив, а та во все горло распевала «Я так хочу» Глории Гейнор, что осложняло ее транспортировку, и при этом раскачивалась, как метроном, что осложняло вдвойне.

Так что у Брауна их тут же завернули, а это означало, что единственным оставшимся для них местом, где еще могли найти приют три обезножившие бакинхемские красотки, была «Последняя капля» – вонючая дыра на задворках Плешки, имевшая дурную и скандальную

славу окрест, место, где самые дешевые проститутки искали себе клиентов, а припаркованный поблизости автомобиль без сигнализации мог продержаться неугнанным минуты полторы, не больше.

Вот тут-то и возник Роман Феллоу в сопровождении своей последней подружки, похожей на рыбку гуппи, – Роману нравились миниатюрные блондинки с большими глазами. Появлению Романа обрадовались бармены, потому что Роман всегда был щедр на чаевые, бросая их направо и налево, но Кейти вовсе ему не обрадовалась, потому что Роман корешился с Бобби О'Доннелом.

Роман сказал:

– Кейти?

Кейти улыбнулась в ответ – она боялась Романа. Его все боялись. Красивый парень и очень неглупый, он мог быть крайне забавным и приятным, если хотел этого, но был в нем и порок: глаза его пугали абсолютным отсутствием всякого чувства, в них зияла холодная пустота.

– Я немного перебрала, – призналась она.

Слова ее рассмешили Романа. Он коротко хохотнул, обнажив белоснежные зубы, и отхлебнул «Тамкрея».

– Немного перебрала, значит? Что ж, ЯСНО. А вот ответь-ка мне, пожалуйста, Кейти, – сказал он вкрадчивым голосом, – ты думаешь, Бобби приятно будет услышать, что ты вытворяла в «Макджилсе»? Приятно будет, когда ему расскажут об этом?

– Нет.

– Потому что и мне это здорово неприятно было, Кейти. Понимаешь, что я говорю?

– Да.

Роман приложил руку рупором к уху.

– Как ты сказала?

– Да.

Держа руку по-прежнему возле уха, Роман наклонился к ней:

– Извини. Так что же?

– Я сейчас домой поеду, – сказала Кейти.

Роман улыбнулся:

– Серьезно? Я же не хочу на тебя давить.

– Нет, нет. С меня хватит.

– Конечно. Слушай, может, разрешишь мне по счету заплатить?

– Нет, спасибо, Роман, мы уже рассчитались.

Роман обнял за плечи подружку.

– Вызвать тебе такси?

Кейти чуть не ляпнула, что сама за рулем, но вовремя спохватилась:

– Нет, нет. В такой поздний час поймать машину не проблема.

– Да, конечно. Тогда ладно, Кейти, до скорого.

Ив с Дайаной были уже в дверях – они стали жаться к выходу, едва увидев Романа.

Уже на улице Дайана сказала:

– Черт. Думаешь, он настучит Бобби?

Кейти хоть и без большой уверенности, но покачала головой:

– Нет. Он дурное передавать не станет. Оставит про запас.

В темноте она провела рукой по лицу, и алкоголь в ее крови превратился в слякотный осадок, тяжкое одиночество. Одиночество было ей хорошо знакомо. Она чувствовала его с тех самых пор, как умерла ее мать, а мать ее умерла давным-давно.

На стоянке Ив вырвало, и она забрызгала заднее колесо синей «тойоты» Кейти. Когда Ив пришла в себя, Кейти выудила из сумочки флакончик с полосканием для рта и передала его подруге. Та спросила:

– А за руль ты сможешь сесть?

Кейти кивнула.

– Да ехать-то всего ничего. Справлюсь отлично.

Дайана невнятно поддакнула, пискнув что-то невразумительное.

Они осторожно покатали по Плешке. Кейти держала стрелку спидометра на двадцати пяти и старательно и сосредоточенно ехала по правой полосе.

Сперва по Данбой, миновав двенадцать кварталов, свернула на Кресент – здесь было темнее, тише. Выхав к началу Плешки, они покатали по Сидней-стрит, направляясь к дому Ив. По пути Дайана решила заночевать у Ив, вместо того чтобы ехать к своему другу Мэтту, где ей пришлось бы выслушать от него очередную порцию гадостей за то, что явилась пьяная, поэтому они с Ив вылезли под разбитым фонарем на Сидней-стрит. Накрапывал дождь, и ветровое стекло было уже все в каплях, но ни Дайана, ни Ив не замечали дождя.

Перегнувшись в талии, они сунули головы в открытое окошко машины, глядя на Кейти. Неудачный конец этого праздничного вечера стер веселье с их лиц, и они были понурыми, как в воду опущенными. Кейти и самой было грустно глядеть на них и на капли дождя на ветровом стекле, и будущее маячило перед нею невеселое, стертое дождем, и все из-за них. Ее лучшие подруги еще с дошкольных лет, и вот может случиться так, что она больше их не увидит.

– Ты ничего, а? – Голос Дайаны зазвенел.

Кейти повернулась к ним, постаравшись улыбнуться широко, как только возможно, от усилия даже челюсть заболела.

– Ну конечно ничего. Я звякну вам из Вегаса, и вы прилетите ко мне в гости.

– Самолетом туда недорого, – сказала Ив.

– Совсем недорого.

– Совсем недорого, – подтвердила и Дайана и вдруг осеклась и, отвернувшись, потупилась, глядя на выщербленный тротуар.

– Ладно, – бодро произнесла Кейти. Слова выскакивали из ее рта весело, как пузырьки шампанского. – Я лучше поеду, пока мы тут не разнюнились.

Ив с Дайаной протянули ей руки через окошко, и она задержала их в своей руке, крепко стиснув, после чего они отошли от машины. Они помахали ей. Кейти помахала в ответ, потом нажала на клаксон и уехала.

Стоя на тротуаре, они глядели вслед удалявшейся машине и оставались стоять так и после того, как, мигнув, исчезли задние огоньки, когда Кейти резко свернула с Сидней-стрит. Они чувствовали, что не сказали каких-то важных слов. Пахло дождем и жестяной сыростью Тюремного канала, который нес свои тихие темные воды за парком.

Всю свою жизнь Дайана будет мучиться и корить себя за то, что не осталась в машине. Меньше чем через год она родит сына, и потом (еще до того, как он станет вылитый отец и озлится до того, что пьяный сядет за руль и раздавит женщину, ждавшую у светофора на Стрелке) она будет все твердить ему, что все шло к тому, чтобы ей остаться в машине, а она вот сдуру, из прихоти вышла и нарушила, стронула что-то в жизни. Она будет нести это в себе вместе с горьким чувством, что провела жизнь как никчемный наблюдатель чужих трагедий, которые не сумела предотвратить. Она будет возвращаться к этому и во время свиданий, навещая сына в тюрьме, а он будет лишь пожимать плечами и ерзать на стуле, а потом говорить: «Ты покурить принесла, мам?»

Ив вышла замуж за электрика и переехала на ранчо в Брейнтри. Иногда среди ночи она клала руку на его широкую щедрую грудь и заводила разговор о Кейти, вспоминала ту ночь, а он слушал и гладил ее волосы, но никаких слов не говорил, потому что сказать тут нечего.

Ив просто необходимо было иногда произносить имя подруги, слышать звук этого имени, чувствовать его вкус на языке. У них родятся дети. Ив будет ходить на их футбольные матчи и стоять сбоку, глядя на игру и повторяя имя Кейти, беззвучно, себе самой и влажному апрельскому воздуху.

Но в тот вечер это были лишь две выпившие девчонки из Ист-Бакинхема, и Кейти видела в зеркальце, как исчезают их фигурки за поворотом Сидней-стрит, когда она направилась домой.

Вечером в этом районе царил безлюдье, дома возле парка года четыре назад горели и сейчас стояли выгоревшие, закопченные, заколоченные. Единственным желанием Кейти было поскорее очутиться дома, забраться в постель, а утром встать пораньше и улизнуть, пока ее не хватятся отец и Бобби. Ей хотелось бросить это место, как сбрасывают платье, промокшее под проливным дождем. Скомкав его в горсти, отшвырнуть прочь и уйти, не оглядываясь.

И ей вспомнилось то, о чем она не думала все эти годы. Вспомнилось, как они с мамой пошли в зоопарк, когда ей было пять лет. Вспомнилось без всякой причины, кроме той, что, возбужденные скверным наркотиком и алкоголем, клетки в мозгу, замкнувшись, видно, задели сундучок, где хранятся воспоминания. Мать вела ее за руку по Коламбия-роуд к зоопарку, и Кейти чувствовала, как костлява ее рука, и чувствовала, как подрагивает пульс возле ее кисти. Она заглядывала в худое, изможденное материнское лицо, с носом, который после того, как она похудела, стал крючковатым, со сморщенным подбородком, в ее затравленные глаза. И пятилетняя Кейти, опечаленная и недоумевающая, спросила:

– Почему ты все время такая усталая, мама?

Напряженное нервное лицо матери как-то сжалось и раскрошилось, как крошится сухая губка. Мать присела на корточки возле Кейти и, стиснув ладонями ее щеки, вперилась в нее покрасневшими глазами. Кейти подумала, что мать рассердилась, но тут губы матери исказила улыбка, подбородок задрожал, и она проговорила: «Ой, детка!» – и притянула ее к себе. Она уткнулась подбородком в плечо Кейти и опять проговорила: «Ой, детка!», – и еще раз повторила то же самое, и Кейти почувствовала, что волосы ее стали мокрыми от материнских слез.

Чувство это всплыло сейчас; капельки слез на ее волосах были мелкие, как морось дождя на ветровом стекле; она силилась вспомнить, какого цвета были глаза у матери, когда вдруг впереди на мостовой увидела лежащего человека. Тело лежало как куль с мукой возле самых ее шин, и она, резко крутанув вправо, почувствовала сильный удар в левое заднее колесо, и в голове мелькнуло: «О Господи, Боже милостивый, только не это, не могла я его задавить, скажи, что это не так, Господи, Господи...»

«Тойота» полетела в кювет, а нога Кейти соскочила с тормозной педали, машину качнуло вперед, мотор взревел и заглох.

Кто-то окликнул ее:

– Эй, ты в порядке?

Кейти увидела, как он направляется к ней, и расслабилась: он казался таким привычным, нестрашным, пока она не заметила пистолета в его руке.

В три часа ночи Брендан Харрис наконец уснул.

Он улыбался во сне. Кейти парила над ним, она говорила, что любит его, шептала его имя, и нежное, как поцелуй, дыхание ее щекало висок.

4

Я больше не вижу тебя

Дейв Бойл завершил этот вечер в «Макджилсе», сидя с Большим Стэнли в углу и перед телевизором и глядя, как «Сокс» играют финал. На площадке царил Педро Мартинес, и «Сокс» колошматили «Ангелов» почем зря. Педро бил как бешеный, и мяч попадал на базу весь измочаленный и раскаленный, словно уголь. На третьей подаче нападающие «Ангелов», казалось, испугались, на шестой вид у них стал такой, словно они только и мечтают очутиться дома за ужином, а когда Гаррет Андерсон запулил штрафной куда-то за правую линию, сделав усилия Педро совершенно бессмысленными, накал борьбы исчез, растворившись на трибунах, разочарованных сухим счетом 8:0, и Дейв поймал себя на том, что больше разглядывает болельщиков, прожектора и сам стадион, чем следит за игрой.

Взгляд его скользнул по лицам на дешевых местах – на них читались отвращение и усталость побежденных, болельщики, казалось, принимали поражение гораздо ближе к сердцу, чем публика на центральной трибуне. И возможно, так оно и было. Многие из них, как понимал Дейв, выбирались на стадион раз в году. Они брали с собой детей и жен, прихватывали напитки, чтобы потом под калифорнийскими звездами праздновать победу, тратили долларов тридцать пять на дешевые билеты и еще двадцать пять на шапочки болельщиков для детей, жевали шестидолларовые гамбургеры из крысятны или сосиски за четыре с половиной доллара, запивая их «пепси» и заедая брикетиками мороженого, оставлявшими на руках липкие следы. Они шли, чтобы встряхнуться, вырваться из повседневности, вдохновиться редким зрелищем победы. Ведь спортивные арены и стадионы – это как в церкви: праздничное освещение, приглушенный шепот молитвы и сорок тысяч сердец, бьющихся в унисон, колотящих в барабан единой для всех надежды.

Выиграй. Сделай это. Для меня, для детей. Для моего несчастного супружества. Выиграй, чтобы я мог унести эту победу с собой в машину и посидеть в ее отсвете вместе с семьей, когда мы отправимся назад, возвращаясь к той жизни, где нет других побед.

Для меня, для меня победы. Выиграй. Выиграй.

Но когда команда твоя проигрывала, единая для всех надежда разбивалась вдребезги, а иллюзия общности с такими же, как ты, прихожанами исчезала. Твоя команда предавала тебя, становясь лишним напоминанием о тщете всех твоих усилий. Ты надеялся, а надежда умерла. И ты сидишь на трибуне в куче хлама – целлофановых оберток, рассыпанного попкорна и мягких, волглых бумажных стаканчиков, – брошенный среди немых свидетельств твоего крушения, а впереди только долгий путь в темноте к темной стоянке бок о бок с пьяными и расстроенными чужаками; рядом молчаливая жена, подсчитывающая про себя убытки, и трое капризных детей. Остается только влезть в машину и поехать туда, откуда обещала вырвать тебя эта церковь.

Дейв Бойл, бывшая звезда бейсбольной команды «Технического колледжа Дон-Боско», игравший в ней в самые ее счастливые годы, с 78-го по 82-й, знал все непостоянство болельщиков. Знал, как жаждешь поклонения и ненавидишь поклонников и готов на коленях вымаливать одобрительные крики «ну еще разок!» и как понуро склоняешь голову под гневным крушением их общей надежды.

– Видал, какие куколочки? – произнес Большой Стэнли, и Дейв поднял глаза на двух девушек, вдруг вспрыгнувших на стойку и пустившихся в пляс под фальшивое пение «Кареглазки» – музыкальный аккомпанемент осуществляла третья из подружек, а две крутили бедрами и потряхивали задницами на стойке бара. Та, что справа, была пухлая, и серые глаза ее зазывно блестели. Дейв решил, что сейчас она в самом соку и еще с полгодика будет очень и очень неплоха в постели. А потом, года через два, обабится – вот и сейчас уже подбородок обвисает, –

растолстеет, обрюзгнет и облачится в халат, и тогда уж чудно будет даже и представить, что кто-то совсем недавно мог на нее заглядываться.

А вот другая девушка – это да! Дейви знал ее с самого ее детства – Кейти Маркус, дочка Джимми и бедняжки Мариты, теперь живущая с мачехой, кузиной его жены, Аннабет. Как она выросла, однако, и каждая клеточка ее тела твердая, свежая, упругая, словно неподвластная закону притяжения. Глядя, как она танцует, наклоняется, кружится, смеется, а светлые волосы ее падают на лицо, закрывая его словно вуалью, и она встряхивает головой, откидывая их назад и выставляя молочно-белую выгнутую шею, Дейв почувствовал, как разгорается в нем, будто огонек свечи, смутное неясное томление. И не просто так. Причиной всему была она. Что-то исходило от нее, от ее тела, от искры узнавания, мелькнувшей на ее мокром от пота лице, когда глаза ее встретились с его глазами и она улыбнулась и помахала ему пальчиком, и жест этот пробрал его до костей, в груди стало тепло, и сердце защемило.

Он окинул взглядом сидевших в баре. Мужчины, хоть и под мухой, глаз не сводили с девушек, глядя на них, словно это светлое видение было им даровано свыше. А лица у них были как у болельщиков «Ангелов» на стадионе во время первых подач – тоскливое желание, смешанное с жалобным осознанием и грустным приятием того, что ничего не выйдет и они поплетутся домой, ничего не получив. Только и остается, что оглаживать себя в ванне, когда жена и дети дрыхнут наверху.

Дейв глядел на сияющую Кейти на стойке и вспоминал, как выглядела обнаженная Мора Кевени, когда была с ним, – капельки пота на лбу, взгляд блуждает и туманится от вина и страсти. Страсти к нему, Дейву Бойлу, звезде бейсбола, гордости Плешки на протяжении всего трех коротких лет. Никто и не вспоминал тогда, как его похитили в десятилетнем возрасте. Нет, тогда он был героем. Мора с ним в постели. Судьба подыгрывает ему.

Дейв Бойл. Откуда ему было знать тогда, что Судьба дарует свои милости лишь на короткий срок, а потом радужное будущее исчезает, оставляя тебя ни с чем в тоскливом настоящем, где все заранее известно, и нет места надежде, и дни перетекают один в другой, такие похожие и неинтересные, что вот уже и год кончился, а на календаре в кухне все еще март.

Нет, больше я не поддамся мечтам, думаешь ты, чтобы не было потом боли и разочарования. Но вот вдруг твоя команда отыгралась, или ты посмотрел хорошее кино, или оранжевый глянец афиши предвещает тебе выступление Арубы, или девушка, немного похожая на ту, что ты любил в юности, а потом потерял, танцует над тобой на стойке бара, и глаза ее сияют, и ты думаешь: черт подери, не помечтать ли еще разок?

Однажды, когда Розмари Сэвидж-Самаркоу в очередной раз была при смерти (кажется, в пятый раз из десяти), она сказала своей дочери Селесте Бойл:

– Вот как на духу, единственная радость, что я имела в жизни, это крутить яйца твоему отцу! Приятно, знаешь, как глоток воды в пустыне.

Селеста рассеянно улыбнулась ей и хотела отвернуться, но мать вцепилась в нее узловатыми изуродованными артритом пальцами, крепко, чуть ли не до кости вонзив ей в кисть свои когти.

– Слушай меня, Селеста. Я помираю, так что мне не до шуток. Только это и можно ухватить в жизни, – и то, если повезет, – потому что счастья в ней негусто. Завтра я сыграю в ящик и хочу, чтобы дочь моя понимала: только это нам и остается. Слышишь? Единственное удовольствие в жизни. Я вот, например, крутила яйца твоему негоднику отцу почему зря. – Глаза ее блеснули, в уголке рта показалась слюна. – И уж поверь, ему это нравилось.

Селеста вытерла полотенцем лоб матери. Она с улыбкой наклонилась к ней, сказала «мамочка» воркующим нежным голосом. Она промокнула слюну на ее губах и погладила ее ладонь, не переставая думать: «Нет, надо бежать отсюда, из этого дома, из этого квартала, из

этого жуткого места, где у людей последние мозги вышибает нищета и убогая жизнь, а они слишком жалки, чтобы что-то в ней изменить».

Но мать ее выжила. Одолела и колит, и диабетические комы, и почечную недостаточность, и два инфаркта миокарда, и злокачественные опухоли груди и кишечника. Однажды у нее отказала поджелудочная железа, а через неделю вдруг опять заработала как ни в чем не бывало, и доктора не раз надоедали Селесте просьбами разрешить исследовать тело матери после ее кончины.

– Какую часть тела исследовать? – поначалу спрашивала Селеста.

– Да все.

У Розмари Сэвидж-Самаркоу был брат, живший на Плешке, которого она ненавидела, а во Флориде у нее имелись две сестры, не желавшие с ней общаться, а мужу она так успешно крутила яйца, что свела его в могилу раньше времени. Селеста была ее единственным ребенком, родившимся после восьми выкидышей. В детстве она часто представляла себе этих своих нерожденных братьев и сестер, витающих где-то в Чистилище, и думала: «Как это я прорвалась?»

Подростком Селеста надеялась на появление кого-то, кто вызволит ее отсюда. Она была недурна собой, добродушна, пикантна, умела повеселиться. Учитывая все это, она думала, что шансы у нее есть. Но дело осложнилось тем, что когда возле нее и возникали претенденты, они были явно не ахти. Большинство их было из Бакинхема, парочка из Роум-Бейсин, а один парень, с которым она познакомилась на парикмахерских курсах, жил в пригороде, но он был голубой, о чем она не сразу догадалась.

Медицинская страховка ее матери вся вышла, и вскоре Селеста поняла, что работает исключительно на покрытие жутких медицинских счетов, выставленных за лечение жутких болезней, которые, видимо, все же были не настолько жутки, чтобы избавить мать от ее жизненного бремени. Впрочем, бремя это мать несла не без удовольствия. Каждая схватка с болезнью оборачивалась новым козырем в том, что Дейв называл «игрой со смертью». Смотря новости по телевизору, где показывали какую-нибудь несчастную, у которой сгорел дом, а в огне погибли двое детей, Розмари чмокала вставной челюстью и говорила:

– Детей можно новых нарожать, а вот попробовала бы ты жить с колитом и эмфиземой в придачу, узнала бы, почему фунт лиха!

Дейв натужно улыбался и шел за очередной банкой пива.

Слыша, как хлопнула дверца холодильника, Розмари говорила Селесте:

– Ты ему так, любовница, настоящая жена его – пиво «Будвайзер».

Селеста тогда отвечала:

– Да брось ты, мама!

Мать вскидывалась:

– А что, разве не так?

В конце концов Селеста выбрала Дейва или, вернее, остановилась на нем. Он был приятной внешности, остроумен, и мало что на свете могло вывести его из себя. Когда они поженились, у него было хорошее место в почтовом ведомстве в Рейшене, но когда, попав под сокращение, он лишился работы, то вскоре удовольствовался другой, в одном из центральных отелей (при том, что заработок его уменьшился вдвое), и не жаловался. Дейв вообще ни на что не жаловался и почти никогда не рассказывал о детстве, о том, что было до колледжа, но странным это стало казаться Селесте, только когда умерла ее мать.

Доконал ее удар. Придя из супермаркета, Селеста нашла мать мертвой в ванне с головой, свесившейся набок, и ртом, скривившимся так, словно та куснула какой-то кислятины.

После похорон Селеста поначалу утешала себя тем, что жизнь ее теперь, без постоянных материнских упреков и колкостей, станет проще. Но этого не произошло. Дейв зарабатывал не больше Селесты, а это было всего на доллар в час больше, чем в «Макдональдсе», и хотя

медицинские счета Розмари, скопившиеся за ее жизнь, по счастью, не легли на плечи дочери, расходы на похороны оказались непомерными. Оценив финансовое положение семьи – счета, которые им предстоит выплачивать годы и годы, отсутствие доходов, притом что деньги летят как в прорву, а Майклу скоро в школу, и это новые расходы, а на кредит больше рассчитывать нечего, – Селеста поняла, что до конца их дней им придется жаться и экономить. Высшего образования ни у нее, ни у Дейва нет, и оно им не светит, а в новостях все уши прожужжали, что процент безработных год от года все ниже, и про национальную программу трудоустройства, а никому и невдомек, что все это касается квалифицированных кадров или тех, кто готов вкалывать без страховки – медицинской и стоматологической, – и без всяких перспектив на повышение.

Селеста теперь часто ловила себя на том, что сидит на крышке унитаза возле ванны, где нашла тело матери. Сидит в темноте и, давясь слезами, думает о том, как же так случилось, что жизнь ее покатила под откос. Именно там она и сидела в ночь на воскресенье, и было уже около трех утра, и дождь барабанил в окна, когда домой вернулся Дейв весь в крови.

При виде ее он как будто испугался. Он отпрянул, когда она возникла перед ним.

Она спросила:

– Что случилось, милый? – и потянулась к нему. Он опять резко отпрянул, так, что даже зацепил ногой порог.

– Меня ранили.

– Что?

– Меня ранили.

– Господи, Дейв, скажи же, что произошло?

Он поднял рубашку, и Селеста увидела на его груди длинный след от удара ножом, откуда, пенясь, текла кровь.

– Господи, родной мой, да тебе же в больницу надо!

– Нет, нет, – сказал он. – Рана неглубокая, просто кровит, как собака.

Он был прав. Приглядевшись, она увидела, что рана действительно совсем неглубокая, но разрез был длинным и сильно кровоточил. Хоть и не настолько, чтобы так испачкать его рубашку и шею.

– Кто это тебя так?

– Какой-то полоумный негр, – сказал он и, стянув рубашку, кинул ее в раковину. – Дорогая, я весь изгваздался.

– Ты что? Да как это все случилось?

Он смотрел на нее блуждающим взглядом.

– Этот парень хотел меня ограбить, ясно? И я кинулся на него. Тогда он ударил меня ножом.

– Ты кинулся на парня с ножом, Дейв?

Он включил воду, сунул голову в раковину, сделал несколько глотков.

– Не знаю, что на меня нашло. Помрачение какое-то. И я его малость попортил.

– Ты?..

– Я покалечил его, Селеста. Словно обезумел, когда почувствовал этот нож у бока. Понимаешь? Я сбил его с ног, подмял под себя, а потом, детка, я ничего не помню.

– Так это была самооборона?

Он сделал неопределенный жест рукой.

– Честно говоря, не думаю, чтобы суд признал это самообороной.

– Не могу поверить. Милый, – она сжала его кисти, – расскажи мне по порядку, толком расскажи, что случилось.

Она заглянула ему в глаза, и ее замутило. Ей почудилось, что в них мелькнула какая-то странная усмешка, похотливая и торжествующая. Это из-за освещения, решила она. Дешевая

лампа дневного света горела прямо над его головой, а когда он склонил голову и стал гладить ей руки, тошнота прошла, потому что лицо его приняло обычное выражение. Испуганное, но обычное.

– Я шел к машине, – начал он, и Селеста опять опустилась на крышку унитаза, а он сел перед ней на корточки, – и вдруг ко мне подошел этот парень и попросил прикурить. Я сказал, что не курю. Он сказал, что и он не курит.

– И он не курит.

Дейв кивнул.

– У меня сердце заколотилось, потому что кругом *ни единой души*. Только он и я. И тут я увидел у него в руке нож. А он говорит: «Кошелек или жизнь, ты, сука... одно из двух. Выбирай!»

– Прямо так и сказал?

Дейв вскинулся, потом склонил голову к плечу.

– А что?

– Ничего.

Селесте слова эти почему-то показались смешными. Неестественным и, что ли... Как в кино. Но ведь кино сейчас все смотрят и телевизор, так что грабитель вполне мог перенять эти слова у какого-нибудь экранного грабителя. Репетировал их, повторял вечерами перед зеркалом, пока они не стали выходить у него натурально, как в боевике.

– Ну вот... – продолжал Дейв, – говорю ему что-то вроде: «Брось, дружище, дай мне пройти к машине и отправляйся-ка домой». Глупо, конечно, потому что тут уж ему и ключи от машины понадобились. И не знаю, детка, почему, но, вместо того чтобы испугаться, я прямо взбесился. Может быть, это была пьяная храбрость, не знаю, но я захотел пройти, оттеснив его. И тут он ударил меня ножом.

– Ты раньше сказал, что он бросился на тебя.

– Черт возьми, ты дашь мне досказать, как все было, или нет?

Она тронула его щеку.

– Прости, детка. – Он поцеловал ее ладонь. – Так вот. Он меня вроде как прижал к машине и занес руку, а я вроде как увернулся, и тут-то этот гомик полоснул меня ножом. Я почувствовал, как нож пропорол кожу, и просто обезумел. Я треснул его кулаком по щеке. Он не ожидал удара. Проревел что-то вроде: «Ах ты, сволочь...», а я размахнулся и вдарил ему, кажется, по шее. Он упал. Нож полетел на землю. Я оседлал его и потом, потом...

Глаза Дейва были устремлены на ванну, рот приоткрыт, губы запеклись.

– Потом что? – спросила Селеста, стараясь представить себе грабителя с занесенным для удара кулаком и нацеленным ножом в другой руке. – Что ты сделал?

Дейв, повернувшись, уставился ей в колени.

– Я, детка, живого места на нем не оставил. По-моему, я его прикончил. Я бил его головой о тротуар; бил по лицу, я сломал ему нос, по-моему, так. Я был как бешеный и испугался как черт и все время думал о тебе и Майкле, и что будет, если я не сумею завести мотор. Погибнуть на этой парковке из-за того, что какой-то полудурок не желает зарабатывать на жизнь честным трудом... – И, пристально взглянув ей в глаза, он повторил: – По-моему, я прикончил его, детка.

Он выглядел таким юным. Глаза распахнуты, лицо бледное, мокрые от пота волосы прилипли к черепу, на лице ужас и – кровь? – да, кровь.

«СПИД, – мелькнуло в голове. – Что, если парень этот был болен СПИДом?»

Нет, подумала она, ты бредишь, опомнись.

Она нужна была Дейву. И это было необычно. Сейчас она поняла, почему ее тревожило в последнее время то, что Дейв никогда не жаловался. Жалуясь, человек словно бы просит о помощи, просит, чтобы тот, кому он жалуется, что-то сделал, устранил какую-то помеху. А

Дейву раньше она не была нужна, поэтому он и не жаловался – ни когда потерял работу, ни из-за Розмари. А вот сейчас он сидит перед ней на корточках, твердит, как в бреду, что, наверно, убил человека, и хочет, чтобы она его утешила, сказала, что все в порядке.

Она и скажет это. Разве не так? Ты собираешься ограбить приличного человека, но тебе не везет, все выходит не так, как ты рассчитывал. Конечно, ужасно, если ты погибнешь, но что делать, думала Селеста, поделом тебе, надо было знать, на что идешь.

Она поцеловала мужа в лоб.

– Милый, – шепнула она, – залезай-ка ты под душ. А я займусь одеждой.

– Да?

– Да.

– А что ты с ней хочешь сделать?

Она понятия не имела. Сжечь? Конечно, только где? Не в квартире же. Значит, во дворе. Но тут же явилась мысль, что могут увидеть, как она сжигает во дворе одежду в три часа ночи. Да хоть бы и днем.

– Я выстираю ее, – наконец решила она. – Выстираю хорошенько, положу в мусорный пакет, и мы ее закопаем.

– Закопаем?

– Ну, или свезем на помойку. Нет, погоди-ка... – Ее мысли неслись, опережая слова. – Припрячем этот мешок до утра вторника, когда вывозят мусор, понимаешь?

– Ну да...

Он повернул кран душа, он не сводил с нее глаз, он ждал, и потемневшая полоса на его груди опять навела ее на мысль о СПИДе или гепатите, да мало ли чем может чужая кровь заразить и убить человека?

– Я знаю, когда приезжают мусорщики. Ровно в семь пятнадцать каждую неделю, кроме первой недели июня. Когда студенты разъезжаются, они оставляют много мусора, и мусорщикам выгоднее опоздать, но...

– Селеста, милая, ну и как ты собираешься...

– Когда я услышу грузовик, я спущусь вниз и скажу, что забыла еще один пакет, и брошу его подальше в мусор. Ясно?

Она улыбнулась, хотя ей было не до смеха.

Все еще стоя к ней лицом, он сунул под струю руку.

– Ладно. Только вот...

– Что?

– Это ничего, да?

– Конечно.

Гепатит А, В и С, думала она. Лихорадка Эбола. Тропическая малярия.

Глаза его опять стали большими-большими.

– Ведь я, возможно, человека убил, детка. Господи боже...

Ей хотелось подойти к нему, погладить. И хотелось бежать без оглядки. Хотелось обнять его за шею, сказать, что все будет хорошо. Но хотелось остаться одной и там, на свободе, все хорошенько обдумать.

Но она не уходила, а стояла как вкопанная.

– Я выстираю одежду.

– Ладно, – сказал он.

Она достала из-под раковины резиновые перчатки, в которых мыла туалет, надела их, проверила, нет ли дырок. Удостоверившись, что они целы, она вынула из раковины его рубашку, а с пола подняла его джинсы. Джинсы были темными от крови, и на белом кафеле от них осталось пятно.

– Как же ты джинсы так испачкал?

– Что?

– Столько крови...

Он поглядел на джинсы, свисавшие с ее руки. перевел взгляд на пол.

– Я ведь наклонился над ним. – Он пожал плечами. – Не знаю как. Наверное, забрызгал их... Как и футболку.

– Ну да.

Он встретился с ней взглядом.

– Да. Так вот.

– Так, значит, – сказала она.

– Да, так.

– Ну, я выстираю это в раковине на кухне.

– Ладно.

– Ладно, – сказала она, пятясь из ванной и оставляя его одного. Руку он протянул под струю воды и ждал, когда она станет горячее.

В кухне она кинула одежду в раковину, отвернула кран и стала смотреть, как вода смывает в сток кровь и прозрачные чешуйки кожи, и – о господи, это ведь похоже на мозг, да-да, она уверена. Странно, что из человека может вытечь столько крови. Говорят, крови в нас шесть литров, но Селесте всегда казалось – больше. В четвертом классе она бегала в парке с подружками и споткнулась. Пытаясь удержаться на ногах, она рассадил ладонь торчавшим в траве осколком бутылочного стекла. Она перерезала себе вену и артерию, и только благодаря ее молодости они лет через десять окончательно зажили, а чувствительность в четырех пальцах восстановилась, лишь когда ей было уже за двадцать. Но запомнилась ей, однако, главным образом кровь. Когда она подняла руку с травы, ее защемило и закололо, как бывает, когда ударишь локоть, а кровь из разрезанной ладони брызнула фонтаном так, что девочки завизжали. Дома кровь сразу же заполнила раковину, и мать вызвала «скорую». «Скорая» обмотала ее руку толстыми бинтами, но уже через минуту-другую они стали темно-красными. В больнице она лежала на белой кушетке в приемном покое, следя, как складки простыни постепенно наполняются ручейками крови. Когда складки переполнились, кровь потекла на пол, образовав вскоре лужицы, и долгие громкие крики матери наконец увенчались тем, что ординатор все-таки решил пустить Селесту без очереди. Столько крови из одной руки.

А теперь столько крови из одной головы из-за удара по щеке, из-за того, что Дейв бил кого-то головой о тротуар. В припадке страха, конечно. Селеста в этом уверена.

Не снимая перчаток, она сунула руку в воду и опять проверила, целы ли они. Нет, дырок не было. Не скупясь, налила жидкого мыла для мытья посуды, залив ею всю футболку, потом потерла футболку металлической мочалкой, выжала и опять, и опять, пока вода после выжимания вместо розовой не стала прозрачной. То же самое она проделала с джинсами, а Дейв тем временем вышел из душа и сидел за кухонным столом с полотенцем вокруг талии и, куря одну за другой длинные белые сигареты, оставшиеся в шкафу еще от матери, глядел на нее.

– Изгваздана как... – тихонько проговорил он.

Она кивнула.

– Вот ведь как бывает, – шепотом продолжал он, – выходишь из дома и не ждешь ничего дурного. Субботний вечер, погода хорошая, и вдруг – на тебе...

Он встал, подошел к ней и, облокотившись на плиту, стал глядеть, как она выжимает левую штанину.

– А почему ты не в стиральной машине стираешь?

Подняв на него глаза, она заметила, что рана в его боку после душа побелела и сморщилась. Она чуть не рассмеялась, но подавила смех и только сказала:

– Улика, милый.

– Улика?

– Ну, точно сказать не могу, но, по-моему, кровь и... что там еще смоются в стиральной машине не так хорошо, как в раковине.

Он присвистнул:

– Улика!

– Улика, – повторила она, разрешив себе улыбку, увлеченная таинственностью, опасностью происходящего, чем-то большим и важным.

– Черт возьми, детка, – проговорил он, – ты просто гений!

Она выжала джинсы, выключила воду и коротко поклонилась.

Четыре утра, а она бодрa, как давно не бывало. Настроение праздничное, как в рождественское утро. Внутри все кипит, как от кофеина.

Всю жизнь ждешь чего-то подобного. Себе не признаешься, а ждешь. Причастности к драме, непохожей на драму неоплаченных счетов и мелких супружеских стычек. Нет. Вот она, настоящая жизнь. Даже более настоящая, чем в реальности. Сверхреальная. Ее муж, видимо, убил подонка. Но если подонок этот действительно мертв, полиция захочет выяснить, чьих рук это дело, и если след приведет их сюда, к Дейву, им потребуются улики.

Она так и видела их за кухонным столом с раскрытыми блокнотами, пахнущих кофе и перегаром, допрашивающих ее и Дейва. Они будут вежливы, но начеку. А они с Дейвом тоже будут вежливы и невозмутимы.

Потому что все дело в уликах. А улики она только что смыла в сток раковины, в темные трубы под нею. Утром она отвинтит колено под раковиной, промоет его, прочистит порошком и опять поставит на место. Она сунет футболку и джинсы в пластиковый мешок для мусора и спрячет мешок до утра вторника, а потом кинет куда подальше в мусорную машину, чтобы он смешался там в одну кучу с тухлыми яйцами, куриными костями и заплесневелыми хлебными горбушками. Она сделает это, и все будет хорошо, лучше не бывает.

– Такое одиночество чувствуешь, – сказал Дейв.

– Почему?

– Потому что ранил кого-то.

– А что тебе оставалось делать?

Он кивнул. Лицо его в сумраке кухни казалось серым. И в то же время он как-то помолодел, словно только что вылез на свет и всему удивляется.

– Я знаю, что только это и оставалось, не мог иначе, и все равно такое одиночество чувствуешь. Чувствуешь себя каким-то...

Она погладила его по лицу, и на шее у него заходил кадык.

– Каким-то изгоем, – закончил он.

5

Оранжевые шторы

В воскресенье в шесть утра, за четыре с половиной часа до первого причастия его дочери Надин, Джимми Маркусу позвонил из магазина Пит Жилибьовски и сказал, что у них запарка.

– Запарка? – Джимми сел в постели и посмотрел на часы. – Ты что, обалдел? Сейчас шесть утра. Если вы с Кейти в шесть часов не справляетесь, то что будет в восемь, когда прихожане повалят толпой?

– Так в том-то и штука, Джим, что Кейти не явилась.

– Кейти – что? – Откинув одеяло, Джимми вылез из постели.

– Не явилась. Ведь ей полагается являться в пять тридцать, так? Парень с пончиками приехал, сигналит у ворот, а у меня и кофе не готов, потому что...

– Гм... – только и произнес Джимми, направляясь по коридору к комнате Кейти и чувствуя, как пробирает холод и обдувает ноги сквозняком: это майское утро больше напоминало зябкий мартовский денек.

– Забулдыги тут эти приходили, наркоманы чертовы. Им в шесть на стройплощадку, так они в пять сорок у нас весь кофе выгребли – и колумбийский, и французской обжарки. А гастрономический отдел прямо как помойка. Сколько ты платишь этим ребятам, что работают в субботу вечером, а, Джимми?

Сказав еще раз «гм», Джимми коротко постучал в дверь комнаты Кейти и толкнул ее ногой. Постель была пуста и, что еще хуже, застелена, значит, она и не ночевала дома.

– ...Потому что или давай повышай им жалованье, или пускай убираются к черту. Что мне, делать нечего, чтобы перед работой целый час все убирать и раскладывать? Здравствуйте, миссис Кармоди. Кофе вот-вот будет готов, через секунду, не больше.

– Я сейчас, – сказал Джимми.

– И воскресные газеты не разобраны, навалены кучей, сверху рекламные листки. Не магазин, а сумасшедший дом какой-то.

– Я же сказал, что иду.

– Правда, Джим? Спасибо тебе.

– Пит? Ты звякни Сэлу и спроси, не выйдет ли он к восьми тридцати вместо десяти, а?

– Думаешь, стоит?

Джимми слышал, как сигналит машина у ворот на том конце провода.

– Слушай, Пит, бога ради, открой ты ворота этому мальчишке с пончиками! Сколько можно торчать у ворот с пончиками!

Повесив трубку, Джимми вернулся в спальню. Аннабет сидела в постели и, скинув простыни, зевала.

– Из магазина? – спросила она, сопроводив эти слова новым зевком.

Он кивнул:

– Кейти не явилась.

– Сегодня, – сказала Аннабет, – у Надин первое причастие, а Кейти на работу не вышла, так, может, она и в церковь не придет?

– Придет, я уверен.

– Не скажи, Джимми. Если она так надралась в субботу, что послала к черту магазин, так все может быть!

Джимми пожал плечами. В отношениях падчерицы и мачехи были две крайности: раздражение и холод или восторженный энтузиазм и преувеличенное дружеское расположение. Середины не было, и Джимми знал, что эта кутерьма началась с самого начала – с появлением в его жизни Аннабет, за что он чувствовал себя немного виноватым, ведь произошло это, когда

девочке было всего семь и она только-только стала узнавать отца и едва оправилась от потери матери. Кейти неприкрыто и искренне радовалась тогда, что в одинокой их квартире появилась женщина, но в то же время смерть матери оставила в ее душе рану, не то чтобы незаживающую, но глубокую, и потеря эта, Джимми это понимал, будет сказываться на ней еще не один год, таясь в ее душе и разрывая сердце, и всякий раз, когда она будет вспоминать о матери, она будет ополчаться на Аннабет, которая уж никак не дотягивает до того образа родной матери, который навоображала или навоображает себе Кейти.

– Господи, Джимми, – сказала Аннабет, когда на футболку, в которой он спал, Джимми натянул рубашку, – ты уже уходишь?

– На часок. – Джимми отыскал джинсы, закрутившиеся вокруг кровати стойки. – Сэл должен заступить на место Кейти во всяком случае к десяти. Пит позвонит ему, попросит выйти пораньше.

– Сэлу уже за семьдесят.

– Ну и хорошо. Чего ему дрыхнуть? Небось и так просыпается спозаранку, чтобы пописать, а потом телевизор смотрит.

– Глупости. – Аннабет выпуталась из одеяла и встала. – Проклятье с этой Кейти. Неужели она и этот день нам испортит?

Джимми почувствовал, что шея его наливается кровью.

– А еще какой день она нам испортила?

Но Аннабет только рукой махнула и направилась в ванную.

– Ты хоть знаешь, где она может быть?

– У Дайаны или у Ив, – сказал Джимми, которого здорово покорибил этот пренебрежительный жест жены. Аннабет он любит, чего там, но если б она только знала – а все Сэвиджи особой догадливостью не отличались, – какое впечатление эти ее взрывы и настроения производят на других. – А может, у парня какого-нибудь.

– Вот как? А с кем она сейчас встречается?

Аннабет отвернула кран душа и отступила к раковине, дожидаясь, пока польется теплая вода.

– Я считал, тебе лучше знать.

Аннабет пошарила в аптечке в поисках пасты и покачала головой.

– С Крошкой Цезарем она порвала в ноябре. Я-то только рада.

Надевая башмаки, Джимми улыбался. Аннабет всегда звала Бобби О'Доннелла «Крошкой Цезарем», если не как-нибудь похуже, и не потому только, что, знаясь с гангстерами и будучи у них главарем, он отличался хладнокровием и цинизмом, а потому, что невысокий и коренастый Бобби сильно смахивал на Эдварда Дж. Робинсона. Кейти здорово их напугала прошлым летом, когда вдруг связалась с этим Бобби, а братья Сэвиджи заверили тогда Джимми, что в случае чего он может рассчитывать на них, они ему руки-то укоротят. Джимми так и не понял, только ли нравственную их чистоплотность возмутил этот подонок Бобби, закрутив роман с их дорогой племянницей, или это говорило в них чувство делового соперничества. Но Кейти сама порвала с Бобби, и кроме неприятных звонков в три часа ночи и того случая на Рождество, когда Бобби с Романом Феллоу вдруг заявили к ним на крыльцо и чуть было не устроили настоящий погром, разрыв не имел тяжких последствий.

Ненависть Аннабет к Бобби О'Доннеллу немного забавляла Джимми – ведь не сходство с Эдвардом Джи и не то, что он спит с ее падчерицей, так возмущает Аннабет, а его доморощенные бандитские наклонности, в противовес профессиональному бандитизму ее братьев или прошлому ее мужа еще при Марите, о котором она доподлинно знала.

Марита умерла четырнадцать лет назад, в то время как Джимми отбывал два года в исправительном заведении «Олений остров» в Уинтропе. На одном из субботних свиданий, когда пятилетняя Кейти ерзала у нее на коленях, Марита сказала Джимми, что ее родинка на руке

в последнее время немного потемнела и она собирается к доктору в приходскую больницу. На всякий случай, пояснила она. Через месяц ей делали химию. А через шесть месяцев после того, как она рассказала ему о родинке, Марита умерла. Джимми видел, как от субботы к субботе жена все хирела и бледнела. Он наблюдал за ее угасанием через потертый стол с прожженной, в пятнах поверхностью, потемневшей за целый век бесконечных рассказов и жалоб заключенных. В последний месяц ее жизни Марита была уже слишком слаба, чтобы приходить на свидания или писать, и Джимми был вынужден ограничиваться телефонными разговорами, во время которых у нее еле ворочался язык от усталости, или от снотворного, или от того и другого вместе. Чаще от того и от другого.

– Знаешь, что мне все время снится? – пробормотала она однажды. – Снится и снится...

– Что же, детка?

– Оранжевые шторы. Большие, плотные оранжевые шторы... – Она чмокнула губами, и Джимми услышал, что она пьет воду. – И как они трепыхаются и хлопают на ветру на своих струнах. Вот так, Джимми: хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, все время так хлопают. Их много-много. Целое море оранжевых штор, и все они хлопают, хлопают, а потом исчезают...

Он думал, что рассказ будет продолжен, но на этом он оборвался. Он не хотел, чтоб в середине разговора Марита вдруг отключилась, как это не раз бывало, и поэтому спросил:

– Как Кейти?

– А?

– Как поживает Кейти, милая?

– Твоя мама хорошо заботится о нас. Она грустит.

– Кто грустит, мама или Кейти?

– Обе. Знаешь, Джимми, меня тошнит. Устала я.

– Ладно, детка.

– Я люблю тебя.

– И я тебя люблю.

– Джимми? Ведь у нас никогда не было оранжевых штор, правда ведь?

– Правда.

– Странно, – сказала она и повесила трубку.

Это было последнее, что он от нее услышал: странно.

Да уж, действительно страннее некуда. Родинка, которая была у тебя на руке с колыбели, когда над тобой вешали погремушки, вдруг начинает темнеть, и спустя почти два года после того, как ты в последний раз спала с мужем и чувствовала его рядом с собой, ты играешь в ящик, и на твоих похоронах муж стоит в стороне под стражей, и кандалы позвякивают на его щиколотках и запястьях.

А через два месяца после похорон Джимми вышел из тюрьмы и в той же одежде, в которой уходил из дома, стоял в своей кухне, улыбаясь маленькой незнакомой девочке. Девочку эту он смутно помнил младенцем, но в ее памяти он тогда не запечатлелся, разве что туманно – что был тогда в доме какой-то дядя, – а помнила она его уже потом, тем, к кому они ходили на свидания по субботам, чтобы сидеть за потертым столом в сырой вонючей комнате в здании, построенном на месте старого и призрачного индейского кладбища, в здании, открытом всем ветрам, с сырыми стенами и давящим потолком. Он стоял в своей кухне, видя, как недоверчиво смотрит на него его ребенок, и остро ощущал свою никчемность. Никогда еще он не чувствовал такого одиночества, такого страха, когда, сев перед Кейти на корточки, он сжал ее пальчики и увидел в ее глазах такое выражение, словно он был инопланетянином в скафандре. Им обоим тогда было несладко: два чужих человека в грязной кухне, приглядывающихся друг к другу и старающихся удержаться от ненависти, потому что вот, дескать, умерла и оставила их вдвоем, и что им дальше делать – неизвестно.

Его дочь – живое существо, она дышит, она уже многое понимает, и она зависит теперь от него, нравится это им обоим или нет.

– Она улыбается нам с небес, – говорил Джимми Кейти. – И она гордится нами. Правда гордится.

– Ты опять вернешься туда, где был? – спросила Кейти.

– Нет-нет. Никогда в жизни.

– А куда-нибудь еще уедешь?

В тот момент Джимми с радостью отправился бы отбывать новый срок в дыре вроде «Оленьего острова» или где похуже, только бы не оставаться еще на сутки в этой кухне наедине с этим совершенно незнакомым ребенком и пугающей перспективой на будущее, осложненной присутствием рядом этого существа, этой, если называть вещи своими именами, обузы, на которую теперь придется угробить остаток молодых лет.

– Некуда мне уезжать, – сказал он. – С тобой буду.

– Я есть хочу.

И Джимми почему-то как током ударило: о боже, и кормить ее придется до скончания веков, кормить!

– Что ж, хорошо, – сказал он, чувствуя, что улыбка его получается какой-то кривоватой. – Сейчас мы поедем.

К шести тридцати Джимми был уже в «Сельском раю», своем магазинчике, где засел за кассу и лотерейный автомат, пока Пит таскал в кафетерий пончики из «Килмерских плюшек» Айзера Гасвами, пирожные, кольца с творогом и пирожки из пекарни Тони Вьюки. В минуты затишья Джимми наполнил два огромных термоса крепким кофе из кофейного автомата, разобрал газеты – воскресные «Глоб», «Геральд» и «Нью-Йорк тайме», вложил в середину рекламные листки и комиксы, поместил кипы газет напротив полок с кондитерскими изделиями и рядом с кассой.

– Сэл сказал, когда будет?

– Самое раннее в полдесятого. У него машина из строя вышла. Поедет общественным транспортом, автобусом с пересадкой. И сказал, что еще не одет.

– Черт.

Примерно в семь пятнадцать им пришлось отражать первый наплыв посетителей с ночной смены. Это были по большей части полицейские, несколько медицинских сестер из «Святой Регины», девушки с фабрики, нелегально подрабатывающие в ночных клубах на противоположной стороне Бакинхем-авеню, той, что ведет к Роум-Бейсин. Они казались утомленными, но были веселы и возбуждены, словно сбросили с себя некий груз или вместе возвратились с поля битвы – заляпанные кровью и грязью, но целые и невредимые.

Когда выдались свободные пять минут перед новым наплывом прихожан, возвращавшихся с утренней службы, Джимми позвонил Дрю Пиджену и спросил, не видел ли он Кейти.

– Да мне кажется, она у нас, – сказал Дрю.

– Правда? – Джимми сам услышал, как зазвенел надеждой его голос, и только тогда понял, что волнуется больше, чем сам себе в том признается.

– Да, по-моему, так, – сказал Дрю. – Пойду проверю.

– Вот спасибо тебе, Дрю.

Он слышал тяжелые удалявшиеся шаги Дрю, обналичивая щеки миссис Хармон и стараясь удержать слезы, наворачивавшиеся на глаза от приторного, тяжелого запаха духов старой дамы. Потом он услышал, что Дрю берет трубку. Он чувствовал трепет в груди, когда, вручив миссис Хармон пятнадцать долларов, кланялся, прощаясь с ней.

– Джимми?

– Да, Дрю, я здесь.

– Прости, это, оказывается, Дайана Честра у нас заночевала. Она и сейчас здесь, на полу в комнате Ив, но Кейти здесь нет.

Трепет в груди Джимми прекратился, и сердце стало тяжелым, будто его сдавили щипцами.

– Ну ничего, не страшно.

– Ив говорит, что Кейти подвезла их сюда, но куда отправляется, не сказала.

– Ладно, дружище, – деланно бодрым голосом заявил Джимми, – я ее разыщу.

– Может, она с парнем каким встречается?

– Девчонке девятнадцать лет, Дрю. Разве их сосчитаешь?

– Истинная правда, – зевнул на другом конце провода Дрю. – Вот и Ив так. Все время звонки, и каждый раз новый парень. Хоть книгу регистраций возле телефона заводи.

Джимми принужденно хохотнул.

– Еще раз спасибо, Дрю.

– Всегда рад помочь тебе. Ну, бывай.

Джимми повесил трубку и потом долго глядел на диск, словно тот мог ему что-то подсказать. Это не в первый раз Кейти не ночевала дома. По правде говоря, даже и не в десятый. И работу прогуливала она не впервые. Но и в том и в другом случае она обычно звонила. Конечно, может, парень этот хорош собой, что тебе киноартист, и обаятелен так, что прямо не оторвешься. Джимми не так давно и самому было девятнадцать, и он хорошо помнил, как это бывает. И хоть ни за что и виду не подаст Кейти, что оправдывает ее, в глубине души он не слишком ее осуждал.

Колокольчик у верхней филенки двери звякнул, и, подняв голову, Джимми увидел ввалившуюся толпу седовласых и аккуратно причесанных богомолок, верещающих что-то о погоде, и о только что прослушанной проповеди, и о том, что на улицах валяется мусор.

Пит выглянул из-за прилавка с гастрономией и вытер руки полотенцем, которым обычно вытирал разделочный стол. Бросив на прилавок целую коробку резиновых перчаток, он направился ко второму кассовому аппарату. Наклонившись к Джимми, он проговорил:

– Ну, сейчас начнется веселье!

Джимми уже года два не работал по воскресеньям утром и совсем позабыл, в какой это может вылиться цирк. Пит оказался прав. Эти седовласые фанатички, наводнявшие Святую Цецилию во время утренней службы в семь утра, когда все нормальные люди спят, принесли сейчас в лавку Джимми остатки своего библейского энтузиазма и опустошали подносы с пирожными и пончиками, термосы с кофе, бутылки с молочными коктейлями и расхватывали газеты. Они толклись возле витринных полок, роняли и давили каблуками пакетики с чипсами и орешками. Они выкрикивали заказы, требовали лотерейные билеты, пачки «Пеллмелл» и «Честерфилда», не соблюдая никакой очереди. И хотя сзади напирали новые седоголовые или лысые посетители, эти медлили у прилавка, выпытывая у Джимми и Пита, как поживают их семьи, бесконечно долго отсчитывали мелочь, и казалось, никогда не уберутся со своими покупками и не примут во внимание нетерпение ожидающих.

Подобной сумятицы Джимми не помнил, разве только однажды он стал свидетелем похожей картины на ирландской свадьбе с бесплатным баром, и когда наконец в восемь сорок пять по часам все они выкатились из лавки, нижняя футболка Джимми под его рубашкой была совершенно мокрой и пот вьелся в кожу. Джимми то оглядывал магазин, опустошенный, как взрывом бомбы, то переводил взгляд на Пита, к которому чувствовал теперь особое дружеское расположение и особую близость: страшно подумать, как выдержал он первый наплыв полицейских, медицинских сестер и проституток в семь пятнадцать! После совместного воскресного испытания толпой алчных старух дружба его с Питом окрепла и перешла в какую-то новую стадию.

Пит бегло улыбнулся ему усталой улыбкой.

– Сейчас с полчасика передохнуть можно будет. Ничего, если я выйду на заднее крыльцо и выкурю сигарету?

Джимми засмеялся. Он вновь повеселел, в который раз охваченный гордостью за маленькое свое дело, превращенное его трудом в популярнейшее заведение квартала.

– Да бог с тобой, Пит, кури хоть целую пачку!

Он вымел мусор в проходе, заново расставил на полках молочные продукты, пополнил подносы пирожными и пончиками и, подняв взгляд, увидел Брендана Харриса и его младшего брата, Немого Рея. Пройдя мимо стойки, они углубились в ту часть прохода, где были выставлены различные сорта хлеба, кексы, чай и стиральные порошки. Занятый заворачиванием пирожных и пончиков, Джимми пожалел, что дал отдых Питу, и подосадовал, что его нет рядом.

Поглядывая на вошедших, он заметил, что взгляд Брендана скользит поверх полок и обращен в сторону касс, как будто он не то замышляет ограбить магазин, не то надеется кого-то увидеть, и у Джимми вдруг возникло минутное подозрение, не следует ли уволить Пита за незаконную торговлю в магазине. Но он тут же опомнился – как забыть прямой и честный взгляд Пита, когда тот клялся и божился, что никогда не подложит Джимми такую свинью и не устроит такой подлянки его любимому заведению, чтобы торговать в нем наркотиками. Джимми знал, что он говорил правду, потому что если ты не закоренелый лжец, король всех лжецов, то тебе не удастся солгать Джимми, когда он смотрит в твои глаза, задав прямой вопрос. Он знал все ухищрения и уловки, знал, как бегают глаза у лжецов, знал их жесты и все, что выдает ложь. Он приобрел этот опыт еще в детстве, выслушивая рьяные клятвы отца и его обещания, которые тот никогда не выполнял, так что теперь он умел распознать ложь, в какие бы личины она ни рядилась. И Джимми помнил прямой и честный взгляд Пита и его клятву блюсти честь заведения, которому он – Джимми это знал – оставался верен.

Так кого же ищет Брендан? Не дурак же он в самом деле, чтобы придумать стянуть что-то в магазине?

Джимми знал отца Брендана, Простого Рея, тоже ненормальный, как и этот Рей, стало быть, ненормальность у них в крови, и все-таки не настолько же Брендан ненормальный, чтобы решиться на грабеж в паре с тринадцатилетним немым парнишкой. А кроме того, если у кого-то из Харрисов и имелись кое-какие мозги, так это, как вынужден, хоть и неохотно, признать Джимми, у Брендана. Парень застенчив и робок, хоть и красавец писанный, а Джимми давно уже понял разницу между робостью, идущей от бестолковости, и той, что происходит от сдержанной замкнутости, когда смотришь, наблюдаешь, мотаешь на ус и помалкиваешь. Брендан как раз из таких. Кажется, он чересчур хорошо изучил людей, и знание это его не обрадовало.

Он повернулся к Джимми, встретился с ним глазами и улыбнулся ему – дружелюбно и чуть виновато и рассеянно, словно думал о чем-то другом.

– Помочь, Брендан? – предложил Джимми.

– Нет, мистер Маркус, я сам посмотрю. Мне ирландский чай надо, который мама любит.

– «Бэрри»?

– Вот-вот, он самый.

– Дальше, во втором ряду.

– О, спасибо...

Джимми скрылся за кассой, и тут появился Пит в облаке табачного перегара от наспех выкуранных сигарет.

– Когда Сэл должен быть? – спросил Джимми.

– Теперь с минуты на минуту. – Пит прислонился к шаткой полке под рулонами чековой бумаги и вздохнул: – Он такой неповоротливый, Джимми.

– Сэл? – Джимми следил, как Брендан и Немой Рей общаются жестами посреди центрального прохода. Под мышкой у Брендана была коробка чая «Бэрри». – Так ему здорово за семьдесят.

– Я знаю, *почему* он неповоротливый, – сказал Пит. – Это я так. Про то, что, если б я работал с ним с восьми часов, а не с тобой, мы бы до сих пор еще копались.

– Вот почему я и ставлю его к прилавку лишь в самое мертвое время. А вообще сегодня не мы с тобой должны были заступить, и не ты с Сэлом, а ты и Кейти.

Брендан и Немой Рей теперь были возле прилавка, и Джимми заметил, как исказилось лицо Брендана, когда тот услышал имя Кейти.

Вынырнув из-за полки с сигаретами, Пит спросил:

– Нашел, что надо, Брендан?

– Я... я... я... – забормотал Брендан. Он метнул взгляд на младшего. – Сейчас, я только с Реем переговорю.

И руки их опять замелькали в воздухе с такой быстротой, что Джимми вряд ли уловил бы, о чем идет речь, даже если б они объяснились нормальным человеческим языком. Однако лицо Немого Рея оставалось мертвенно-неподвижным, несмотря на быстрые и нервные движения рук. Джимми никогда не нравился этот молчун, мрачный тип, в мать пошел, не в отца: лицо как изваяние, словно нарочно придушивается. Как-то раз он поделился с Аннабет этим своим наблюдением, а та упрекнула его, что он просто предубежден против инвалидов. И все-таки в мертвенном лице Рея и его немом рте было что-то жутковатое – топором не отмахнешься.

Они перестали жестикулировать, и Брендан, склонившись к кондитерской полке, взял оттуда жвачку Колмана, и Джимми вдруг вспомнился отец и как пахло от него в тот год, когда он работал на кондитерской фабрике.

– И еще «Глоб», пожалуйста, – сказал Брендан.

– Конечно, мальчик мой, – сказал Пит, выбивая чек.

– А я думал, что по воскресеньям Кейти работает, – заметил Брендан, протягивая Питу десятку.

Пит поднял брови, нажал на кнопку кассового аппарата, и дверца, распахнувшись, хлопнула его по животу.

– Так тебе хозяйская дочка приглянулась, а, Брендан?

На Джимми Брендан даже не глядел.

– Нет, нет. – Он издал короткий смешок, тут же замерший на его губах. – Я просто удивился, потому что обычно видел здесь ее.

– У ее сестренки сегодня первое причастие, – сказал Джимми.

– У Надин? – воскликнул Брендан, сделав слишком большие глаза и слишком широко улыбнувшись.

– У Надин, – подтвердил Джимми, удивившись, как быстро тот вспомнил имя девочки. – Именно.

– Ну, передайте ей поздравления от меня и Рея.

– Конечно.

Брендан, устремив взгляд вниз, на прилавок, несколько раз кивнул, пока Пит паковал покупку.

– Ну хорошо, рад был повидаться. Идем, Рей.

Рей не глядел на брата, пока тот говорил, но когда тот сказал «идем», он пошел, лишний раз напомнив Джимми то, что всегда и всеми забывалось: Рей немой, но не глухой. Оно и неудивительно, что забывалось – ведь такое не часто встретишь.

– Послушай, Джимми, – сказал Пит, когда оба брата удалились, – хочу спросить у тебя одну вещь.

– Выкладывай.

– За что ты ненавидишь этого парнишку?

Джимми пожал плечами.

– Ну, не то чтобы ненавижу. Я просто... Ну а тебе разве не кажется, что от этого немного мороз по коже пробегает?

– А, так ты про этого малого, – проговорил Пит. – Он и вправду смотрит так, что кажется, заметил что-то у тебя на лице и сейчас схватит и выдернет. Так ведь? Но я не о нем говорил. Я говорил о Брендане. По-моему, он вполне славный парень, тихий такой и очень даже приятный. Видел, как он жестами с братишкой разговаривает, даже когда и не очень надо. Чтобы тот не скучал. Это ж хорошо. А ты, Джимми, приятель, глядел на него так, словно еще минута – и ты двинешь его промеж глаз и потом задашь ему жару.

– Ну вот уж нет!

– Правда-правда!

– Seriously?

– Вот ей-богу же...

Джимми глядел поверх лотерейного барабана за пыльные стекла витрины, туда, где серела под утренним небом мокрая Бакинхем-авеню. Застенчивая робкая улыбка Брендана Харриса бередила ему душу.

– Джимми, ты чего? Я ведь так, в шутку...

– А вот и Сэл, – сказал Джимми. Отвернувшись от Пита, он глядел через стекло, как тащится через улицу Сэл, направляясь к магазину. – Вообще-то не рано.

6

Потому что разбилось оно

Воскресенье Шона Дивайна – его первый день на работе после недельного перерыва – началось с того, что его вырвал из сна резкий звонок будильника, и он испытал томительное чувство неотвратимой утраты: так младенец выскакивает на свет божий из материнского лона, куда обратно пути уже не будет. Подробностей сна он не помнил, так, отдельные бессвязные детали, и, кажется, сюжета там и вовсе не было. И все же волнующие обрывки этого сна, как острые шипы, въелись в подкорку и целое утро тревожили и озадачивали его.

Во сне этом фигурировала его жена Лорен, и он, уже проснувшись, продолжал чувствовать ее запах. Она была растрепана, а волосы ее цвета мокрого песка были длиннее и темнее, чем в жизни. Она была загорелой, а голые щиколотки и стопы ног были испачканы песком. Она пахла морем и солнцем и, сидя на коленях у Шона, целовала его в нос и щекотала ему шею своими длинными пальцами. Все это происходило на террасе какой-то виллы на взморье, и Шон слышал шум прибоя. Но там, где должен был находиться океан, он видел лишь пустой экран телевизора – огромный, шириной с футбольное поле. Вглядываясь в середину этого экрана, он различал лишь собственное отражение, в то время как Лорен там не было, словно обнимал он воздух.

И однако, он чувствовал ее тело, ее теплую плоть.

Потом вдруг действие переместилось на крышу дома, и место Лорен теперь занял флюгер. Шон обнимал этот флюгер, а внизу, под домом, зияла дыра, и у причала стояла парусная яхта. А следующая сцена – он лежит голый на постели и с ним женщина, совершенно незнакомая. Он обнимает ее и по какой-то странной, свойственной снам логике знает, что рядом в другой комнате находится Лорен и что она следит за ними, видя их на мониторе, а в окно бьется чайка. Она разбивает стекло, и осколки, как кубики льда, сыплются на постель, а Шон, уже одетый, склоняется над чайкой.

Та тяжело дышит и говорит: «Шею больно!»

А Шон хочет сказать: «Это потому, что она сломана», но просыпается.

Он просыпается, в то время как сон все еще тяжело раскручивается в голове, липнет к векам, плотным налетом покрывая язык. Он все не открывает глаз, хотя и слышит звон будильника, он надеется, что все это еще сон, что он спит, а будильник звонит во сне.

Потом он постепенно разлепляет веки, все еще чувствуя рядом с собой крепкое тело незнакомки, но, помня и запах моря, исходящий от Лорен, он открывает глаза и вдруг понимает, что это не сон, и не кино, и не грустная-прегрустная песня.

Те же простыни, и та же спальня, и та же постель. На подоконнике пустая банка из-под пива, и солнце слепит глаза, а будильник на прикроватной тумбочке звонит и звонит. Из крана капает – он все забывает его починить. Его жизнь – целиком и полностью его, и только его.

Он выключает будильник, но медлит вылезти из постели. Не хочется поднимать голову с подушки, проверять, нет ли похмелья. С похмелья первый день на работе будет казаться вдвое длиннее, а ему и так предстоит быть длинным, этому первому дню после недельной отлучки. Как подумаешь о том, сколько всего придется проглотить и сколько шуток на свой счет вытерпеть, становится страшно.

Он лежал и слушал уличные гудки и шум за стеной: у соседей-наркоманов вечно орет телевизор, а они смотрят все подряд, начиная с «Утреннего почтальона» и до вечерней «Улицы Сезам»; он слышал, как жужжит вентилятор под потолком и шумят микроволновка и воздухоочиститель, и как гудят включенный компьютер и сотовый телефон, и как гудят кухня и гостиная, и гудит, гудит назойливо, неумолчно улица под окнами, гудит вокзал, гудят кварталы Фаной-Хайтс и Плешки.

Все вдруг озвучилось. Все стронулось с места, завертелось и потекло. Все стало неустойчивым, пришло в движение, быстрее и быстрее.

Когда же, черт возьми, это началось? Это единственное, что он, строго говоря, хотел бы знать. Когда все подхватило и понеслось прочь, оставив его глядящим вслед стремительному потоку?

Он закрыл глаза.

Когда ушла Лорен.

Вот тогда.

Брендан Харрис глядел на телефон, мечтая, чтобы тот зазвонил. Он поглядывал на часы. Опаздывает на два часа. Удивляться не приходится, так как Кейти не очень-то в ладах со временем, но в такой день могла бы уж и не опаздывать. Брендану не терпится ехать, а где же Кейти, если на работе ее нет? План был таков: она позвонит Брендану с работы, потом пойдет на причастие сводной сестры, после чего они встретятся. Но на работу она не вышла. И не позвонила.

Сам он позвонить ей не мог. Это очень осложняло их отношения с самого первого дня знакомства. Обычно Кейти можно было застать в трех местах: у Бобби О'Доннела – это в самом начале, в родительском доме на Бакинхем-авеню, где она жила с отцом, мачехой и двумя сводными сестрами, или же в квартире наверху, где обитали эти ее кошмарные дядя, двое из которых, Ник и Вэл, были совершенно неуправляемыми и имели славу законченных психопатов. А еще был ее отец Джимми Маркус, который ненавидел Брендана, а почему, ни он, ни Кейти понять не могли. Однако ж Кейти знала это доподлинно: не один год она слышала от отца «Держись подальше от Харрисов, а приведешь кого-нибудь из них в дом – и ты мне не дочь».

По словам Кейти, отец всегда такой разумный, а вот насчет Брендана, как она однажды призналась ему со слезами на глазах, «у него просто пунктик». Да-да, именно так. Как-то раз он выпил, крепко выпил, понимаешь, и его развезло, и он стал плести что-то насчет мамы, и как он любил ее и все такое, а потом вдруг и говорит: «Харрисы эти проклятые! Подонки они, Кейти, и больше никто!»

Подонки. От этого слова у Брендана даже сердце зашлось.

«И держись от них подальше. Это единственное, чего я от тебя требую, Кейти, слышишь? Уж пожалуйста!»

– Как это случилось, – спросил Брендан, – что ты вдруг меня выбрала?

Она шевельнулась в его объятиях, грустно улыбнулась ему.

– А ты не знаешь?

Сказать по правде, он и ума не мог приложить. Ведь Кейти, она такая, такая... Богиня! Ну а Брендан – что ж, просто Брендан.

– Не знаю.

– Ты добрый.

– Добрый?

Она кивнула.

– Я видела, как ты разговариваешь с Реем, и с матерью, и с посторонними на улице. Ты очень добрый, Брендан.

– Добрых много.

Она покачала головой.

– Много тех, кто старается такими быть. А это не одно и то же.

И Брендан, обдумывая эти ее слова, вынужден был признать, что людям он обычно нравился, не то чтобы был неотразим и все такое, но, как правило, о нем отзывались хорошо: «Этот Харрис хороший парень», в таком роде. Врагов у него не было, кроме как в детстве он ни с кем не дрался. И грубых слов ему не говорили. Может быть, и вправду потому, что он

добрый. И может быть, Кейти права – это редко встречается. А может быть, он просто не из тех, кто вызывает в людях раздражение.

А вот отец Кейти, тот исключение из правил. А почему – загадка. Трудно отрицать, что Брендана он ненавидит.

Не далее как полчаса назад Брендан мог в этом убедиться в магазине мистера Маркуса, мог почувствовать тихую затаенную ненависть, исходящую от этого человека, как зараза. От ее волны он сник, начал мямлить и заикаться. По пути домой он глаз не смел поднять на Рея – таким сделала его эта ненависть, как будто он грязный, немытый или вшивый, с нечищеными зубами. И то, что ненависть эта совершенно беспричинна – он никогда не делал ничего дурного мистеру Маркусу и даже вообще почти не был с ним знаком, – не меняло дела. Глядя на Джимми Маркуса, Брендан видел, что помощи от этого человека он не дождется, даже если его будут на глазах у того резать.

Брендан не мог позвонить Кейти ни по одному из двух ее телефонов – вдруг там у них определитель номера, или еще как-нибудь они его вычислят и удивятся: чего этот проклятый Брендан звонит их Кейти? Сколько раз он уже брал телефонную трубку, но сама мысль о том, что к телефону может подойти мистер Маркус, или Бобби О'Доннел, или один из этих психопатов братьев Сэвиджей, заставляла его класть трубку на рычаг.

Брендан не знал даже, кого он боится больше. Мистер Маркус – человек солидный, владелец магазина, в котором он, Брендан, чуть ли не с самого детства делает покупки, но, даже и не считая откровенной его ненависти к Брендану есть в нем что-то нерасполагающее, какое-то двойное дно, словно от него можно ждать чего угодно. Чего именно, Брендан не знал, но на всякий случай с такими людьми хочется говорить тихо и не встречаться глазами. Вот и Бобби О'Доннел из таких: никто толком не знает, чем он там занимается и зарабатывает на жизнь, но при виде его каждый норовит перейти на другую сторону улицы, чтобы ненароком не столкнуться. Ну а что до братьев Сэвиджей, то тут уж вообще пробу ставить негде, просто ненормальные какие-то. Хуже них на всей Плешке не сыскать, характерец у каждого такой, что только держись, взрываются из-за пустяков, а если все их художества записать, то книжица получится толстая, что тебе Библия. Отец их, тоже болван порядочный, настрогал со своей тощей богомолкой-женой ребят видимо-невидимо: одиннадцать месяцев пройдет – и новый братик готов. Как с цепи сорвались. Братья росли в тесноте и грязи, среди постоянных скандалов в малюсенькой комнате, возле которой проходили рельсы надземки. Надземка эта закрывала от Плешки солнце до тех пор, пока, еще в детстве Брендана, ее не демонтировали. Полы в квартире были кривые, и поезда громыхали, день и ночь проносясь мимо комнаты мальчиков, сотрясая их трехэтажку с такой силой, что братья нередко сваливались с кроватей и просыпались утром на полу, лежа в куче, и, злые как черти, расталкивали друг друга, выбираясь на поверхность, чтобы начать новый день.

Когда они были мальчишками, окружающие их не различали. Для всех они были просто Сэвиджи, стая Сэвиджей: руки и ноги, лопатки, и коленки, и спутанные вихры волос – и все это мчится в пыльном облаке, как сумчатый дьявол. А люди, увидев приближающееся облако, чтобы не попасть в зону его действия, спешат на всякий случай посторониться, надеясь, что оно либо рассеется, либо изменит направление, перекинется на кого-то другого, либо просто промчится мимо, так как Сэвидж в эту минуту занят собой и своими сумасшедшими замыслами.

Да что там, до того, как Брендан стал тайком встречаться с Кейти, он даже не знал, сколько их, этих братьев, а ведь он вырос на Плешке. Но Кейти ему это растолковала: старшим был Ник, который шесть лет назад отправился отбывать свой срок – как минимум лет десять – в Уолпол. За ним следовал Вэл – если верить Кейти, самый милый из братьев, потом Чак, Кевин, Эл (его обычно путали с Вэлом), Джерард, только недавно выпущенный из Уолпола, и, наконец, Скотт, младший, любимец матери, которого она до последних своих дней жутко баловала; Скотт единственный из всех окончил колледж и единственный не жил с братьями в квартирах

на первом и третьем этажах, которые они получили во владение после того, как, терроризируя прежних жильцов, заставили их бежать без оглядки и даже переселиться в другой штат.

– Мне известно, что о них много чего дурного говорят, – сказала однажды Кейти Брендану, – но на самом деле они хорошие ребята. Ну, может быть, кроме Скотта. Его действительно полюбить трудновато.

Вот тебе и добропорядочный Скотт.

Брендан в который раз взглянул на свои часы, потом сверил их с настенными, висевшими над кроватью. Он все глядел на телефон.

Он глядел на постель, в которой еще позавчера заснул, уткнувшись в затылок Кейти, перебирая ее светлые локоны и обхватив ее бедро так, чтобы ладонь его покоилась на ее теплом животе, а запах ее волос, ее духов и немножко пота щекотал ему ноздри.

Он опять покосился на телефон.

Ну зазвони, проклятый. Зазвони.

Машину обнаружили двое мальчишек. Они позвонили в службу спасения, и тот, кто был на проводе, пролепетал, задышавшись, быстро и невнятно:

– Ну, это... тут в машине вроде как кровь, и еще дверца открыта и...

– Местонахождение машины? – прервал его дежурный.

– На Плешке, – отвечал мальчишка. – Возле Тюремного парка. Мы с приятелем на нее наткнулись.

– Улица какая?

– Сидней-стрит, – пробормотал мальчишка. – Тут кровь внутри, а дверца открыта.

– Фамилия, сынок?

– Спрашивает, как ее фамилия, – обращаясь к приятелю, проговорил мальчишка. – Говорит: «сынок».

– Эй, сынок, – сказал дежурный, – я твою фамилию спрашиваю.

– Да мы тут случайно, – уклонился мальчишка. – Счастливо вам.

Паренек повесил трубку, и дежурный по компьютеру определил, что звонили с телефона-автомата на углу Килмер– и Нозер-стрит с Плешки Ист-Бакинхема, примерно в миле от того входа в парк, что на Сидней-стрит. Дежурный передал сообщение диспетчеру, и тот выслал наряд на Сидней-стрит.

Один из полицейских, перезвонив, попросил подкрепления, одного-двух технических экспертов-криминологов и, может быть, парочку следователей по убийствам. На всякий случай.

– Вы что, нашли тело, тридцать третий? Прием.

– Пока нет, диспетчер.

– Тридцать третий! Зачем же просить следователя по убийствам, если тела нет? Прием.

– Да судя по машине, диспетчер. Подозреваю, что раньше или позже тело тут мы обнаружим.

Свой первый после перерыва рабочий день Шон начал, припарковавшись на Кресент и обходя ограждение на углу Сидней-стрит с надписью «Бостонская городская полиция». Городская полиция прибыла первая, но из услышанного по рации Шон понял, что дело это будет расследовать Отдел убийств штата, его подразделение.

Машина, как он слышал, была найдена на Сидней-стрит, на участке, находящемся в ведении городской полиции, но следы крови ведут в Тюремный парк, а это уже заповедник штата. Первое, что он увидел, это стоявший немного поодаль пикапчик криминально-технической службы.

Приблизившись, он заметил Уайти Пауэрс – тот стоял в нескольких метрах от машины с приоткрытой со стороны водителя дверцей. Суза и Конноли, лишь неделю назад переброшенные в Отдел убийств, не выпуская из рук стаканчиков с кофе, обыскивали кусты возле входа в парк. Дальше на гравийной площадке стояли машины полицейских и пикапчик технической службы: криминологи осматривали машину, время от времени злобно косясь на Сузу и Конноли, которые затоптали все вокруг, уничтожив возможные улики и накидав повсюду пластиковых крышек.

– Ну что, проштрафившийся, тебя уже призвали? – удивленно вскинул брови Уайти.

– Ага, – сказал Шон, – но напарника не дали, сержант. Адольфи-то в отпуске.

Уайти Пауэрс кивнул:

– Перестраховщики. Все равно что, поставив синяк, вызывать «скорую». – Он обнял Шона за плечи. – Ну, мальчик, будешь со мной. Весь испытательный срок.

Так вот, оказывается, как все устроилось. Уайти поручено присматривать за ним, пока высокая комиссия не примет решения, может ли он соответствовать или нет.

– Вроде тихий уик-энд намечался, – сказал Уайти, подталкивая Шона к машине с открытой дверцей. – Ночь прошла спокойно. В графстве тишина, тише не бывает. В Паркер-Хилле ножевое ранение, еще одного порезали в Бромли-Хет, школьника из Элстона треснули разбитой пивной бутылкой. Ничего серьезного. И всем этим занимается город. Хотя Паркер-Хилл – это ведь наш участок, да? Но он сам на своих двоих добежал до больницы с ножом в ключице и еще спросил сестру в приемном покое, где у них там автомат с кока-колой.

– Ну и она показала ему автомат? – спросил Шон.

Уайти улыбнулся. Он считался одним из лучших полицейских Отдела убийств, привык быть на прекрасном счету и поэтому часто улыбался. Его, должно быть, вызвали звонком неожиданно, так как на нем были домашние брюки и свитер сына, бейсбольная шапочка задом наперед и синие шлепки с отливом на босу ногу, но поверх свитера на нейлоновом шнурке болтался его полицейский жетон.

– Мне нравится, как ты одет, – сказал Шон, и Уайти одарил его еще одной ленивой улыбкой. Над их головами вилась вспугнутая в парке птица, резкие крики ее мурашками отзывались в спине.

– Послушай, полчаса назад я еще валялся на моем диване.

– Смотрел мультики?

– Да нет, борьбу смотрел. – Уайти указал на кусты, за которыми начинался парк. – Чую я, что мы отыщем ее где-то там. Правда, мы только начали осмотр местности, а Фрил уже заявил, что надо записать это в «Без вести пропавших» до тех пор, пока не найдется тело.

Птица сделала новый круг, опустившись ниже, и издала пронзительный стрекочущий звук, отчего у Шона защекотало где-то в затылке.

– Так, значит, делом займемся мы?

Уайти кивнул.

– Если только пострадавшая не убежала обратно в город, где ее и тюкнули.

Шон покачал головой. У птицы была большая голова и короткие ноги, поджатые под белую грудку с серой полоской посередине. Вид птицы он не признал, так как натуралистом был слабым.

– Что это за птица?

– Кольчатый зимородок, – сказал Уайти.

– Ну уж прямо!

Уайти клятвенно поднял руку:

– Ей-богу, так и есть.

– Ты что, в детстве передачами «Царства дикой природы» увлекался?

Птица опять громко застрекотала, и Шону захотелось ее пристрелить.

– Хочешь машину осмотреть? – спросил Уайти.

– Почему ты сказал «пострадавшая»? – спросил Шон, когда оба они, поднырнув под желтую ленту, окружавшую место происшествия, направились к машине.

– Техническая экспертиза нашла в бардачке техпаспорт. Владелица машины – Кэтрин Маркус.

– Черт, – пробормотал Шон.

– Знакомая?

– Возможно, я знаю ее отца.

– И близко знаешь?

Шон покачал головой:

– Да нет, так, здороваемся при встрече по-соседски.

– Точно? – спросил Уайти, словно уже сейчас с места в карьер начинал расследование.

– Угу, – отозвался Шон. – Точно, как дважды два.

Подойдя к машине, Уайти потянулся к приоткрытой дверце водителя, и эксперт технической службы тут же сделала шаг назад, вскинув руки:

– Только не трогайте ничего, мальчики! Кто расследует дело?

– Расследовать буду я, – сказал Уайти. – Парк в ведении штата.

– Машиной же занимается город.

Уайти указал на кусты:

– А след крови ведет во владения штата.

– Ну, не знаю, – со вздохом сказала эксперт.

– Мы засунули все данные в компьютер, – сказал Уайти, – а до получения резюме дело – в ведении штата.

Одного взгляда на кусты Шону оказалось достаточно, чтобы понять: если тело будет найдено, то только там.

– Ну а что имеете вы?

Эксперт зевнула.

– Мы нашли машину с приоткрытой дверцей, ключи в зажигании, фары зажжены. Как назло, аккумулятор потек и запачкал днище через десять секунд после нашего прибытия.

Шон заметил кровавое пятно над динамиком на дверце со стороны водителя. Кровь про- текла, замазав и сам динамик, запеклась и почернела. Сев на корточки, он оглядел рулевое колесо. На нем тоже было черное пятно. Третье пятно было длиннее и шире, чем предыдущие два, оно окаймляло дырку от пули, прошившей виниловую спинку. Кресла водителя на уровне плеча. Перегнувшись через кресло водителя, Шон поглядел на кусты, потом, высунувшись, осмотрел наружную сторону дверцы и увидел там свежую вмятину.

Он покосился на Уайти, и тот кивнул.

– Предполагаемый преступник мог находиться снаружи. А эта девчонка Маркус – если, конечно, она была за рулем, – стукнула его дверцей. Подонок начинает стрелять и ранит ее, ну, не знаю куда, наверное, в плечо или предплечье. Девчонка кидается, конечно, вон туда. – Он показал на смятые кусты. – Они направляются в парк. Ранена она не очень сильно, потому что в кустах совсем мало крови.

– У нас есть патруль в парке? – спросил Шон.

– Пока что два человека.

Эксперт технической службы фыркнула:

– Надеюсь, поумнее, чем эти двое?

Проследив за направлением ее взгляда, Шон и Уайти увидели, что Конноли уронил в кусты свой кофе и сейчас стоял, пытаясь выудить стаканчик.

– Послушайте, – сказал Уайти, – они же новички, дайте им пообвыкнуться.

– Придется попросить помощи.

– Нашли еще что-нибудь для опознания личности, кроме техпаспорта? – спросил женщину Шон.

– Да. Бумажник под сиденьем, водительские права на имя Кэтрин Маркус. А еще за пассажирским сиденьем был рюкзак. Билли сейчас проверяет содержимое.

Шон посмотрел поверх кузова, туда, куда кивком указала эксперт технической службы. Парень стоял на коленях перед автомобилем, а перед ним лежал темно-синий рюкзак.

Уйти спросил:

– И сколько ей лет по водительским правам?

– Девятнадцать, сержант.

– Девятнадцать. И ты знаешь отца? – обратился он к Шону – Черт возьми, невеселые дни его ожидают. Бедняга небось и понятия еще не имеет.

Отвернувшись, Шон глядел, как одинокая крикунья, по-прежнему громко стрекоча, полетела в сторону канала. Через ушную раковину ее пронзительный крик проникал ему в мозг, и ему вдруг вспомнилось тоскливое выражение одиночества, которое он подсмотрел на лице одиннадцатилетнего Джимми Маркуса во время той их злополучной попытки украсть автомобиль. Шон представил его себе так живо, стоя сейчас возле кустов у входа в Тюремный парк, словно двадцать лет, прошедшие с тех пор, пронеслись мгновенно, как реклама на телевидении; вспомнил это потерянное затравленное выражение, это одиночество Джимми Маркуса, зиявшее пустотой, как трухлявый ствол сухого дерева. И чтобы стряхнуть это с себя, он стал думать о Лорен, о ее длинных, песочного цвета волосах, опутавших его сон, его утро, напитавших их запахом моря. Он думал о Лорен и мечтал опять попасть в этот сон, заползти в его воронку, погрузиться в него с головой и раствориться в нем.

7

В крови

Надин Маркус, младшая дочка Джимми и Аннабет, в воскресное утро получала святое причастие на первой своей конфирмации в церкви Святой Цецилии, что на Плешке. Стиснутые от самых запястий до кончиков пальцев руки, белая вуаль и белое платье делали ее похожей на маленькую невесту или белого ангелочка. Она шла по проходу, словно летела на крыльях, в то время как многие из сорока мальчиков и девочек, шедших с нею, плелись и спотыкались.

По крайней мере так показалось Джимми, и хотя к собственным детям он мог быть необъективен, он был уверен, что не ошибся. Ведь современные дети, они как? – орут, болтают, толкаются в присутствии родителей, клянчат то одно, то другое, никакого уважения к взрослым, уставятся своими глазищами, мутными и воспаленными, потому что от телевизора и компьютера их не оторвать, так и бегают от одного к другому. Как ртутные шарики: кажется, застыл и тут же – прыснет, поскачет, разбиваясь в мелкую пыль, шарахаясь из стороны в сторону. А если уж им что-то надо, душу вымотают, а своего добьются. Попросят – неудача, они опять, громче, им опять «нет», тут уж они в крик. И родители, слабаки несчастные, лапки кверху – сдаются.

Джимми и Аннабет обожали своих девочек. Вкалывали как черти, лишь бы только те были довольными, веселыми и не скучали, чтобы знали, что их любят. Но одно дело любить, а другое – сажать их себе на голову, и Джимми знал, что их дочери отлично понимают разницу.

Взять, например, вот этих двух шкетов, что как раз сейчас проходят мимо скамьи Джимми, – пихаются, гогочут, не обращая внимания на монахинь, когда те их урезонируют, кривляются перед прихожанами, а некоторые глядят на все это с улыбкой. Господи. В его время родители были бы тут как тут – хватъ их обоих за волосы, шлепнули бы как следует и еще на ухо пообещали бы дома по-другому поговорить.

Своего старика Джимми в детстве ненавидел, и воспитание по старинке, конечно, тоже не метод, но должна же быть какая-то золотая середина, а ее, похоже, большинство и не находит. Золотая середина, чтобы ребенок знал, что родители его очень любят, но в доме главный не он, что правила поведения разумны и придуманы для того, чтобы им следовать, что «нет» – значит «нет», и хоть ты и милый ребенок, это еще не дает тебе права делать все, что вздумается.

Конечно, трудности эти преодолимы и ты дашь ребенку хорошее воспитание, но даже и после этого он может причинить тебе немало горя. Как, например, сегодня Кейти. Не только на работу не вышла, но, похоже, наплюет даже на конфирмацию сестрички. Что же это с ней такое приключилось? Да, наверно, ничего особенного, что и есть самое огорчительное.

Джимми опять стал смотреть, как Надин идет по проходу, и сердце его наполнилось такой гордостью, что даже гнев на Кейти, смешанный, правда, с некоторым беспокойством, не сильным, но довольно упорным, как-то утихомирился, хотя Джимми и понимал, что он опять вернется. Конфирмация в жизни ребенка из католической семьи – большое событие, когда тебя наряжают, тобой восхищаются, и после церкви в завершение тебя всячески балуют, а Джимми любил устраивать детям праздники, делать их яркими и запоминающимися. Поэтому его так рассердило отсутствие Кейти. Ей девятнадцать лет, понятно, и, конечно, мальчишки, наряды и хождение по барам с сомнительной репутацией для нее важнее, чем жизнь ее единокровных сестер, поэтому Джимми на нее особенно не давил. Но все-таки наплевать на такой праздник, особенно помня, как старался Джимми в ее детстве устраивать ей праздники... Он почувствовал, как в нем опять закипает гнев, и подумал, что, как только она появится, ей не избежать «серьезного разговора» с ним, как называла Аннабет эти выяснения отношений, в последние года два ставшие в их семье довольно привычными.

Как бы там ни было, к черту это все.

Потому что Надин как раз поравнялась со скамьей, где сидел Джимми. Аннабет просила Надин, и та обещала ей это – не коситься на отца, когда будет проходить мимо, и ни в коем случае не смеяться, не портить торжественности таинства какой-нибудь детской выходкой, но Надин украдкой все же поглядела на отца, незаметно, но поглядела, тем самым дав понять Джимми, что, даже рискуя рассердить мать, готова продемонстрировать ему свою любовь. Вот на деда своего Тео и шестерых дядюшек она же не взглянула, хотя и сидели они позади Джимми – знает, что можно себе позволить, а чего нельзя. Она чуть-чуть скосила на отца левый глаз. Джимми заметил это, несмотря на вуаль, и украдкой, тремя пальцами помахал ей, беззвучно прошептав: «Привет!»

Надин улыбнулась ему, и улыбка эта была прекраснее белого ее платья, и вуали, и белых туфелек, вместе взятых. Джимми почувствовал, как от этой улыбки у него защемило сердце, глаза наполнились слезами, а колени ослабели. Его любимые женщины – Аннабет, Кейти, Надин и вторая их дочка Сара – могли с ним делать такое: улыбнутся, взглянут, и вдруг подгибаются колени и ты становишься слабым, беспомощным.

Надин потупилась и напустила на лицо суровость, борясь с улыбкой, но Аннабет все-таки углядела ее. Она толкнула Джимми локтем под ребро. Он повернулся к ней, чувствуя, что краснеет, и спросил:

– Чего ты?

Аннабет окинула его уничтожающим взглядом, заставляющим предположить, что дома ему не поздоровится. Потом устремила взгляд вперед. Губы ее были плотно сжаты, однако в уголках их притаилась улыбка. Джимми знал, что стоит ему сказать невинным голосом: «Ну, в чем дело?» – и Аннабет, сама того не желая, поплывет – рассмеется. В церкви всегда почему-то хочется смеяться, а одним из главных достоинств Джимми было умение рассмешить женщину, не важно чем именно.

После этого он на Аннабет не глядел, целиком сосредоточившись на службе, а затем на таинстве, когда дети по очереди, сложив руки ковшиком, в первый раз в жизни получали облатки. Он вертел в руках распорядок службы, руки его были так влажны, что книжица, которой он затем стал постукивать по бедру, отсырела. Он глядел, как Надин приняла облатку, взяла ее, положила на язык, потом перекрестилась, склонив голову, а Аннабет, прижавшись к нему, прошептала:

– Наша кроха, господи, Джимми, наша кроха!

Джимми обнял жену за плечи, стиснул их, думая о том, что вот такие минуты в жизни хочется остановить, как стоп-кадр, чтобы остаться с ними, замереть, побыть в них подольше, несколько часов или даже дней, напиться ими для дальнейшей жизни. Повернувшись к Аннабет, он поцеловал ее в щеку, и она еще теснее прижалась к нему, как и он, не сводя глаз с дочки – их светлого ангела.

Парень с самурайским мечом стоял на краю парка, повернувшись спиной к Тюремному каналу; одна нога у него была приподнята, и он медленно поворачивался на другой, держа меч за макушкой под странным углом. Шон, Уайти и Конноли медленно приблизились, обмениваясь недоуменными взглядами – дескать, это еще что за фрукт? Парень продолжал свое неспешное круговое движение, не обращая внимания на четырех мужчин, подбиравшихся к нему, смыкавших вокруг него кольцо. Он поднял меч над головой, потом перенес его вперед к груди. Теперь они были от него шагах в двадцати, а парень, совершив оборот на сто восемьдесят градусов, теперь стоял к ним спиной, и Шон увидел, что рука Конноли поползла к правому бедру, расстегнула кобуру и легла на кольт.

Пока дело не зашло слишком далеко и не произошло ни убийства, ни харакири, Шон, прочистив горло, произнес:

– Простите, сэр... Простите.

Парень чуть-чуть вытянул шею, как будто услышав обращенные к нему слова, но, никак не отозвавшись, продолжал свое размеренное движение, постепенно поворачиваясь в их сторону.

– Вам придется положить оружие на траву, сэр.

Парень опустил ногу на землю и теперь стоял к ним лицом; глаза его расширились при виде четырех револьверов, нацеленных на него. Он протянул вперед меч, намереваясь не то ударить, не то отдать оружие, Шон так и не понял этого его движения.

Конноли рывкнул:

– Черт, ты что, оглох? На землю, говорят тебе!

– Тш... тихо, – приказал Шон и остановился, не дойдя до парня шагов десяти. Он думал о каплях крови, которые они обнаружили ярдах в шестидесяти отсюда, когда все четверо поняли, что означают эти капли, и ему припомнился Брюс Ли, размахивающий мечом величиной с небольшой самолет. Только Брюс Ли был по-азиатски раскос, а этот парень абсолютно белокож, молод, не старше двадцати пяти, черноволос, курчав, гладко выбрит, одет в белую футболку, заправленную в серые тренировочные штаны.

Теперь он не шевелился, и Шон ясно понял, что только страх заставляет парня целить мечом в них: просто мозг, оцепеневший от страха, отказывается дать приказ телу.

– Сэр, – сказал Шон, достаточно резко сказал, так, что парень сразу же перевел взгляд на него. – Сделайте мне одолжение, положите меч на землю. Просто разожмите пальцы, и он выпадет.

– Кто вы, черт побери?

– Офицеры полиции. – Уайти Пауэрс сверкнул своим жетоном. – Видите? Так что не сомневайтесь, сэр, и бросьте меч.

– Угу, ладно, – пробормотал парень, и не успел он это произнести, как меч, вывалившись из его рук, с глухим стуком упал на траву.

Шон почувствовал, как Конноли слегка подался влево, готовясь к захвату, и остановил его движением руки. При этом он не сводил глаз с парня, скрестившись с ним взглядом.

– Как тебя зовут?

– А? Кент.

– Привет, Кент. Я из полиции штата, и моя фамилия Дивайн. Отступи-ка на два шага от оружия.

– Оружия?

– От меча, Кент. Сделай два шага назад. Как твоя фамилия, Кент?

– Брюэр, – сказал парень и попятился, подняв руки и немного выставив вперед ладони, словно боялся, что сейчас все четверо дружно разрядят в него свои кольты.

Шон улыбнулся и кивнул Уайти.

– Что это ты здесь делал, Кент? Похоже на танец, так мне показалось. – Он пожал плечами. – Хоть и с мечом, а все же...

Кент внимательно смотрел, как Уайти, наклонившись, осторожно поднял меч, взявшись платком за его рукоятку.

– Кендо.

– А что это такое, Кент?

– Кендо, – повторил Кент. – Боевое искусство. Я беру уроки кендо по вторникам и четвергам, а по утрам тренируюсь. Я просто тренировался, вот и все.

Конноли перевел дух.

Суза покосился на Конноли.

– Это точно, и побойться можешь?

Уайти передал меч Шону для осмотра. Меч был смазан и блестел как новенький.

– Гляди, – Уайти провел ладонью по лезвию, – ложки и то острее бывают.

– Он не отточен, – сказал Кент.

В голове Шона вновь отозвался пронзительный птичий крик.

– А ты, Кент, давно здесь?

Кент глядел на парковочную площадку в ста ярдах за ними.

– Да минут пятнадцать. От силы. А в чем дело? – Голос его обрел уверенность, в нем даже появились негодующие нотки. – Разве закон запрещает упражняться в кендо в общественных местах, а, офицер?

– Выясним, – сказал Уайти. – И надо говорить «сержант», Кент.

– Расскажи, что ты делал вчера вечером и сегодня утром, – предложил Шон.

Кент опять разволновался и стал судорожно припоминать, сопя и отдуваясь. Потом он прикрыл глаза и тяжело вздохнул.

– Да-да. Вспомнил. Я был на вечеринке у друзей. Потом пошел домой с моей девушкой. Около трех мы уснули. Утром попили кофе, и я пришел сюда.

Шон потер переносицу и кивнул.

– Мы заберем у тебя меч, Кент, и попросим проследовать с нами в казарму.

– В казарму?

– Ну, в отделение, – сказал Шон. – Это одно и то же.

– А зачем?

– Кент, ты согласен пойти с одним из нас?

– Ну да.

Шон бросил взгляд на Уайти, и тот поморщился. Оба они знали, что Кент слишком испуган, чтобы врать. Они знали, что из лаборатории меч возвратится чистеньким, без единого отпечатка. Но надо проиграть все до конца, используя малейшие зацепки, пока на стол начальству не ляжет обстоятельный и исчерпывающий доклад.

– Я скоро черный пояс получу, – сказал Кент.

Они обернулись:

– Что?

– В субботу, – сказал Кент, и потное лицо его просияло. – Три года я угрожал на это и добился, я и сюда-то утром пришел, чтобы проверить, в хорошей ли я форме.

– Угу, – буркнул Шон.

– Слышь, Кент, – сказал Уайти, и тот улыбнулся ему, – все это, конечно, хорошо, но ты думаешь, нам это интересно?

Когда Надин в цепочке детей вышла из заднего крыльца церкви, Джимми уже не так сердился на Кейти, как беспокоился за нее. Несмотря на все ее шашни с парнями в последнее время, Кейти не из тех, кто плюет на сестер. Они ее обожали, и она в них души не чаяла: водила их в кино, и кататься на роликах, и в кафе-мороженое. Она готовила их к праздничному шествию в следующее воскресенье, занимаясь этим так, словно день города – праздник не меньший, чем день святого Патрика или Рождество. В среду она специально пришла домой пораньше, увела девочек наверх, чтобы выбрать для них наряды; они устроили из этого целое представление: Кейти сидела на кровати, а девочки дефилировали мимо нее то в одном платье, то в другом, спрашивали ее, как причесаться, и какую походку выбрать, и как себя вести. В комнате они, конечно, устроили настоящий кавардак, раскидали всюду платья, кофты, но Джимми не сердился: что ж, Кейти помогает сестрам достойно отметить день города, а разве не сам он когда-то учил использовать малейший повод для праздника?

Но почему же она так повела себя в день конфирмации Надин?

Может быть, очень уж надралась? А может, и правда повстречала какого-нибудь неотразимого красавца с внешностью киногероя и потеряла голову? А может, просто забыла?

Встав со скамьи, Джимми стал продвигаться по проходу вместе с Аннабет и Сарой. Аннабет крепко стиснула его руку, увидев, как ходят желваки на его скулах и как рассеян его взгляд.

– Я уверена, что ничего с ней не случилось. Может быть, перепила, и ничего более.

Джимми улыбнулся, кивнул и тоже ответил ей рукопожатием. Аннабет умеет читать его мысли, знает, когда его поддержать, ее ласковая простая практичность – его единственная опора. Она ему и жена, и мать, и лучший его друг, и сестра, и любовница, и исповедник. Не будь ее, Джимми знал это доподлинно, все окончилось бы новым сроком в «Оленьем острове» или, еще того хуже, в каком-нибудь совсем уж жутком месте вроде Норфолка или Сидар-Джанкшн, где он сгинул бы, потеряв все здоровье.

Когда он встретил Аннабет год спустя после освобождения и с двумя годами испытательного срока, отношения его с Кейти только-только стали складываться, очень медленно и постепенно. Казалось, она начинает привыкать к его присутствию, все еще настороженная, но немного оттаявшая, а Джимми тоже привык к постоянному ощущению усталости: после десятичасового рабочего дня надо было мчаться через весь город – то чтобы забрать Кейти, то чтобы забросить ее к его матери, то в школу, то на продленку. Усталость постоянно сопровождала его, как сопровождал и страх, и вскоре он стал думать, что так будет всегда, что больше он не отделается ни от усталости, ни от страха. Он просыпался со страхом, боясь, что Кейти как-нибудь не так повернулась и задохнулась во сне. Он боялся кризиса, спада производства, боялся лишиться работы, боялся, что Кейти свалится с брусьев в школе во время перемены, что ей понадобится что-то, чего он не сможет ей купить, боялся, что жизнь его так и будет вечным мучением, состоящим из страха и постоянной усталости.

Эту усталость Джимми принес с собой и в церковь в тот день, когда брат Аннабет Вэл Сэвидж венчался с Терезой Хики – оба они, и жених и невеста, были одинаково безобразны, угрюмы и коротконоги. Джимми ясно представил себе их будущее потомство – таких же неразличимых, как они, злобных и курносых, долгие годы повергающих в трепет Бакинхем-авеню. Вэл числился в банде Джимми в те годы, когда Джимми был главарем, и он был благодарен Джимми за то, что тот отбыл двухгодичный срок плюс еще три года условно, пострадав за товарищей, потому что всем им было известно, что Джимми мог подставить их всех и отвернуться. Вэл, слабый как физически, так и умственно, боготворил бы Джимми, не женись тот на пуэрториканке, да еще и не местной.

Когда Марита умерла, соседи поговаривали, что вот, дескать, что бывает, когда живешь не так, как принято. Но эта их девчонка Кейти, видать, вырастет в настоящую красавицу – у полукровок это часто бывает.

Когда Джимми вышел на волю из «Оленьего острова», его засыпали различными предложениями – ведь он был грабителем-профессионалом, одним из лучших в округе, и слава о нем гремела. И даже когда Джимми с благодарностью отказывался, ссылаясь на то, что отныне хочет жить честной жизнью «ради ребенка, знаете ли», собеседники лишь улыбались в ответ, думая, что все равно раньше или позже он возьмется за старое, если дела его не пойдут на лад и придется выбирать: честный труд или рождественский подарок ребенку.

Однако прогнозы не оправдались. Несравненный Джимми Маркус, главарь банды еще в те годы, когда, считаясь несовершеннолетним, не мог купить себе спиртного в супермаркете, Джимми Маркус, стоявший и за знаменитым делом с «Келдар Текникс», и за другими, не менее громкими делами, так переменялся, что окружающим казалось, будто он их дурачит. Прошел даже слух, что Джимми – подумать только – собирается выкупить у Эла Де Марко его магазин, оставив старика номинальным владельцем и заплатив ему порядочный куш из денег, добытых, как говорили, еще на деле с «Келдар Текникс».

На свадьбе Вэла и Терезы, отмечавшейся в ресторане на Данбой-стрит, Джимми пригласил Аннабет на танец, и на них сразу же обратили внимание, как они скользили под музыку, прикинув друг к другу, глаза в глаза, не стесняясь, как рука его легонько поглаживала ей зад,

а она не противилась. Они знают друг друга с детства, пояснил кто-то из присутствующих, только он постарше будет. Может быть, тогда еще между ними возникла симпатия, но надо было, чтобы убралась сначала эта пуэрториканка, вернее, чтобы Господь прибрал ее.

Они танцевали под песню Рики Ли Джонса, которая непонятно почему всегда так нравилась Джимми: «Прощайте, дружки мои, привет, о грустноглазые мои Синатры...» Он тихонько напевал эти строки на ухо Аннабет, пока они кружились в танце, и ему было так хорошо, так спокойно, как давно уже не было, а потом он подпевал хору, вторя легкой грусти Рики: «Прощай, пустая авеню...», и улыбался, заглядывая в прозрачную зелень глаз Аннабет. Она тоже улыбалась ему, и смущенная эта улыбка проникала в самую душу, и им было так хорошо вдвоем, словно они танцевали не в первый, а в сто первый раз.

Они ушли последними и долго еще сидели на крыльце у входа, попивали легкое пиво, курили и глядели, как расходятся по своим машинам гости. Они сидели до тех пор, пока летняя ночь не стала холодать, и Джимми накинул свой пиджак на плечи Аннабет и рассказал ей и о тюрьме, и о Кейти, и о том, как Марите снились оранжевые шторы, а Аннабет рассказала ему, каково это быть единственной девочкой среди буйных братьев Сэвиджей, о том, как провела одну зиму в Нью-Йорке – танцевала в дансинге, – но потом поняла, что толку из нее не выйдет, и стала учиться на медсестру.

Когда владелец ресторана прогнал их с крыльца, они пошли гулять и прогуляли долго, придя в дом к Вэлу, когда молодые уже удалились в спальню. Они взяли из холодильника Вэла шесть бутылок с пивом и ушли, нырнули в темноту «Херли», кинотеатра для автомобилистов, и уселись там на берегу канала, слушая угрюмый плеск воды. Кинотеатр для автомобилистов уже четыре года как закрыт, а грузовики Министерства транспорта, желтые приземистые экскаваторы и мусорные машины, снующие здесь по утрам, изрыли всю местность, превратив площадку над каналом в нагромождение цементных глыб и развороченную грязь. Говорили, что здесь разобьют парк, но пока что это был всего лишь заброшенный кинотеатр на открытом воздухе, где за горами мусора, комями засохшей грязи и асфальтовыми глыбами еще белел экран.

– Говорят, это у тебя в крови, – сказала Аннабет.

– Что «в крови»?

– Воровство, преступления. – Она пожала плечами. – Ну, ты понимаешь.

Джимми улыбнулся ей через бутылочное стекло, отхлебнул еще глоток.

– Это правда? – спросила она.

– Может быть. – Теперь настал его черед пожать плечами. – Но это не значит, что все обязательно должно вылезти наружу.

– Я не осуждаю тебя, поверь. – Ее лицо было совершенно непроницаемо, даже по голосу непонятно было, что она хочет услышать. Что он остался прежним? Что с прошлым покончено? Что он обещает ей богатство и благополучие? Что он клянется никогда больше не преступать закон?

Лицо Аннабет, такое спокойное, издали казалось даже невыразительным, но стоило к ней приглядеться, и в лице ее можно было прочесть столько всего загадочного, непонятного; мозг ее напряженно работал, трудился бурно и неустанно.

– Вот скажи, танцевать – это у тебя в крови, так?

– Не знаю. Наверное...

– Но если тебе скажут, что танцевать больше нельзя, ты ведь остановишься, так? Может быть, тебе это будет нелегко, неприятно, но ты остановишься. Справишься.

– Ну да.

– Ну да, – повторил он и вытянул из пачки, лежавшей на камне, сигарету. – Так вот и я. Я был профессионал в своем деле. Талант. Но я попался. Меня зацапали. Жена умерла. Я испортил жизнь моей дочери. – Он закурил, затянулся, стараясь сказать все это так, как гово-

рил это себе много-много раз. – Но больше я ей портить жизнь не хочу, слышишь, Аннабет? Второй раз моего двухлетнего срока ей не выдержать. На мою мать тоже надежда плохая – у нее здоровье никуда. Что, если помрет, пока я в тюрьме? Тогда дочь переходит под опеку штата, а они отправят ее в какое-нибудь жуткое место, «Олений остров» для малышей. Нет, этого допустить я не могу. И значит – точка. В крови это у меня или нет – какая разница. С прежним покончено.

Джимми не сводил с нее глаз и видел, что она изучает его лицо. Он понимал, что она хочет знать, не врет ли он, не морочит ли ей голову, и надеялся, что речь его была достаточно гладкой и убедительной. Ведь он давно уже репетировал ее, готовясь к чему-то подобному. А к тому же сказанное им в общем-то было правдой. Он умолчал лишь об одной вещи, о которой поклялся не говорить ни одной живой душе, кто бы это ни был. И вот теперь, глядя в глаза Аннабет и ожидая ее решения, он гнал от себя видения той ночи на Мистик-ривер: парень стоит на коленях, и у него с подбородка капает слюна, и он, умоляя, кричит, – тени эти лезут, теснятся, въедливые, как металлические опилки.

Аннабет взяла сигарету. Он дал ей прикурить, и она сказала:

– Я ведь влюбилась в тебя очень давно. Ты это знаешь?

Джимми не переменялся в лице, он по-прежнему ровно и прямо держал голову и сохранял невозмутимость, хотя его, как порыв ветра, подхватило радостное чувство облегчения: его полуправда прошла; если с Аннабет это получилось, то больше заготовленную речь говорить не придется.

– Не врешь? Ты в меня влюбилась?

Она кивнула.

– Ты когда приходил к Вэлу? Наверное, мне тогда было лет четырнадцать – пятнадцать. Знаешь, Джимми, у меня от одного твоего голоса из кухни мурашки бежали по телу.

– Вот незадача! – Он тронул ее за плечо. – А сейчас не бегут?

– Конечно, бегут, Джимми, конечно, бегут.

И Мистик-ривер опять отступила, слив свои воды с грязным течением канала, а потом потекла дальше за горизонт.

Когда Шон вновь выбрался на пешеходную дорожку, эксперт технической службы уже была там. Уйти Пауэрс отдал распоряжение по рации всем полицейским в парке задерживать всех гуляющих, после чего присел на корточки возле эксперта и Шона.

– След тянется вот сюда, – сказала женщина, указывая в глубь парка.

Дорожка вела к деревянному мостику, а затем ныряла в заросли, огибая бывший экран кинотеатра для автомобилистов в глубине парка.

– Вот еще и тут есть. – Она указала авторучкой, и Шон с Уйти, глядя через ее плечо, увидели капли крови помельче за дорожкой возле мостика. Высокий клен не дал дождю, пролившемуся ночью, смыть эти следы. – Думаю, она бежала к оврагу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.